

ВЛАДИМИР

НАБΟΚОВ

приглашение на казнь



Annotation

«Приглашение на казнь» (1934, опубл. 1935–1936) – седьмой русский роман Владимира Набокова, одна из вершин «сиринского» периода творчества писателя. В неназванной вымышленной стране молодой человек по имени Цинциннат Ц. ожидает казни, будучи заточен в крепость и приговорен к смерти за свою нарушающую общественный покой непрозрачность или, как говорится в заключении суда, «гносеологическую гнусность». Навещаемый «убогими призраками» охранников и родственников, Цинциннат все более отчетливо ощущает вымороченную театральность и гротескную абсурдность окружающего мира, в котором директор тюрьмы может обернуться надзирателем, а палач притворяется узником и демонстрирует цирковые трюки. В момент казни, однако, бутафорский мир стремительно распадается, и герой направляется в сторону «существ, подобных ему», – в высшую, истинную реальность. Роман, который автор впоследствии назвал своей «единственной поэмой в прозе», поднимает важнейшие для миропонимания Набокова темы потусторонности, подлинной сущности искусства, смысла человеческого существования.

- [Владимир Набоков](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)

- [XVII](#)
 - [XVIII](#)
 - [XIX](#)
 - [XX](#)
 - [Предисловие автора к американскому изданию](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
-

Владимир Набоков

Приглашение на казнѣ

Comme un fou se croit Dieu nous nous croyons mortels.

Delalande Discours sur les ombres[\[1\]](#)

Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обмениваясь улыбками. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал. Засим Цинцинната отвезли обратно в крепость. Дорога обвивалась вокруг ее скалистого подножья и уходила под ворота: змея в расселину. Был спокоен: однако его поддерживали во время путешествия по длинным коридорам, ибо он неверно ставил ноги, вроде ребенка, только что научившегося ступать, или точно куда проваливался, как человек, во сне увидевший, что идет по воде, но вдруг усомнившийся: да можно ли? Тюремщик Родион долго отпирал дверь Цинциннатовой камеры, – не тот ключ, – всегдашняя возня. Дверь наконец уступила. Там, на койке, уже ждал адвокат, – сидел, погруженный по плечи в раздумье, без фрака (забытого на венском стуле в зале суда, – был жаркий, насквозь синий день), и нетерпеливо вскочил, когда ввели узника. Но Цинциннату было не до разговоров. Пускай одиночество в камере с глазком подобно ладье, дающей течь. Все равно, – он заявил, что хочет остаться один, и, поклонившись, все вышли.

Итак – подбираемся к концу. Правая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, среди лакомого чтенья, легонько ощупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг, ни с того ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтенья – и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, ссохшись вокруг кости (самая же последняя непременно – тверденькая, недоспелая). Ужасно! Цинциннат снял шелковую безрукавку, надел халат и, притоптывая, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, длинный как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста. Цинциннат написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь этот финал я предчувствовал этот финал». Родион, стоя за дверью, с суровым шкиперским вниманием глядел в глазок. Цинциннат ощущал холодок у себя в затылке. Он вычеркнул написанное и начал тихо тушевать, причем получился зачаточный орнамент, который постепенно разросся и свернулся в бараний рог. Ужасно! Родион смотрел в

голубой глазок на поднимавшийся и падавший горизонт. Кому становилось тошно? Цинциннату. Вышибло пот, все потемнело, он чувствовал коренек каждого волоска. Пробили часы – четыре или пять раз, и казематный отгул их, перегул и загулок вели себя подобающим образом. Работая лапами, спустился на нитке паук с потолка – официальный друг заключенных. Но никто в стену не стучал, так как Цинциннат был пока что единственным арестантом (на такую громадную крепость!).

Спустя некоторое время тюремщик Родион вошел и ему предложил тур вальса. Цинциннат согласился. Они закружились. Бренчали у Родиона ключи на кожаном поясе, от него пахло мужиком, табаком, чесноком, и он напевал, пыхтя в рыжую бороду, и скрипели ржавые суставы (не те годы, увы, опух, одышка). Их вынесло в коридор. Цинциннат был гораздо меньше своего кавалера. Цинциннат был легкий как лист. Ветер вальса пушил светлые концы его длинных, но жидких усов, а большие, прозрачные глаза косили, как у всех пугливых танцоров. Да, он был очень мал для взрослого мужчины. Марфинька говаривала, что его башмаки ей жмут. У сгиба коридора стоял другой стражник, без имени, под ружьем, в песьей маске с марлевой пастью. Описав около него круг, они плавно вернулись в камеру, и тут Цинциннат пожалел, что так кратко было дружеское пожатие обморока.

Опять с банальной унылостью пробили часы. Время шло в арифметической прогрессии: восемь. Уродливое окошко оказалось доступным закату; сбоку по стене пролег пламенистый параллелограмм. Камера наполнилась доверху маслом сумерек, содержавших необыкновенные пигменты. Так, спрашивается: что это справа от двери – картина ли кисти крутого колориста или другое окно, расписное, каких уже не бывает? (На самом деле это висел пергаментный лист с подробными, в две колонны, «правилами для заключенных»; загнутый угол, красные заглавные буквы, заставки, древний герб города – а именно: доменная печь с крыльями – и давали нужный материал вечернему отблеску.) Мебель в камере была представлена столом, стулом, койкой. Уже давно принесенный обед (харчи смертникам полагались директорские) стыл на цинковом подносе. Стемнело совсем. Вдруг разлился золотой, крепко настоящий электрический свет.

Цинциннат спустил ноги с койки. В голове, от затылка к виску, по диагонали, покатился кегельный шар, замер и поехал обратно. Между тем дверь отворилась и вошел директор тюрьмы.

Он был, как всегда, в сюртуке, держался отменно прямо, выпятив грудь, одну руку засунув за борт, а другую заложив за спину. Идеальный

парик, черный как смоль, с восковым пробором, гладко облегал череп. Его без любви выбранное лицо, с жирными желтыми щеками и несколько устарелой системой морщин, было условно оживлено двумя, и только двумя, выкаченными глазами. Ровно передвигая ноги в столбчатых панталонах, он прошагал между стеной и столом, почти дошел до койки, – но, несмотря на свою сановитую плотность, преспокойно исчез, растворившись в воздухе. Через минуту, однако, дверь отворилась снова, со знакомым на этот раз скрежетанием, – и, как всегда в сюртуке, выпятив грудь, вошел он же.

– Узнав из достоверного источника, что нонче решилась ваша судьба, – начал он сдобным басом, – я почел своим долгом, сударь мой...

Цинциннат сказал:

– Любезность. Вы. Очень. – (Это еще нужно расставить.)

– Вы очень любезны, – сказал, прочистив горло, какой-то добавочный Цинциннат.

– Помилуйте, – воскликнул директор, не замечая бестактности слова. – Помилуйте! Долг. Я всегда. А вот почему, смею спросить, вы не притронулись к пище?

Директор снял крышку и поднес к своему чуткому носу миску с застывшим рагу. Двумя пальцами взял картофелину и стал мощно жевать, уже выбирая бровью что-то на другом блюде.

– Не знаю, какие еще вам нужны кушанья, – проговорил он недовольно и, треща манжетами, сел за стол, чтобы удобнее было есть пудинг-кабинет.

Цинциннат сказал:

– Я хотел бы все-таки знать, долго ли теперь.

– Превосходный сабайон! Вы хотели бы все-таки знать, долго ли теперь. К сожалению, я сам не знаю. Меня извещают всегда в последний момент, я много раз жаловался, могу вам показать всю эту переписку, если вас интересует.

– Так что, может быть, в ближайшее утро? – спросил Цинциннат.

– Если вас интересует, – сказал директор. – Да, просто очень вкусно и сытно, вот что я вам доложу. А теперь, pour la digestion^[2], позвольте предложить вам папиросу. Не бойтесь, это в крайнем случае только предпоследняя, – добавил он находчиво.

– Я спрашиваю, – сказал Цинциннат, – я спрашиваю не из любопытства. Правда, трусы всегда любопытны. Но уверяю вас... Пускай не справляюсь с ознобом и так далее, – это ничего. Всадник не отвечает за дрожь коня. Я хочу знать когда – вот почему: смертный приговор

возмещается точным знанием смертного часа. Роскошь большая, но заслуженная. Меня же оставляют в том неведении, которое могут выносить только живущие на воле. И еще: в голове у меня множество начатых и в разное время прерванных работ... Заниматься ими я просто не стану, если срок до казни все равно недостаточен для их стройного завершения. Вот почему.

– Ах, пожалуйста, не надо бормотать, – нервно сказал директор. – Это, во-первых, против правил, а во-вторых – говорю вам русским языком и повторяю: не знаю. Все, что могу вам сообщить, это что со дня на день ожидается приезд вашего суженого, – а он, когда приедет, да отдохнет, да свыкнется с обстановкой, еще должен будет испытать инструмент, если, однако, не привезет своего, что весьма и весьма вероятно. Табачок-то не крепковат?

– Нет, – ответил Цинциннат, рассеянно посмотрев на свою папиросу. – Но только мне кажется, что по закону – ну не вы, так управляющий городом обязан...

– Потолковали, и будет, – сказал директор, – я, собственно, здесь не для выслушивания жалоб, а для того... – Он, мигая, полез в один карман, в другой; наконец из-за пазухи вытащил линованный листок, явно вырванный из школьной тетради.

– Пепельницы тут нет, – заметил он, поводя папиросой, – что ж, давайте утопим в остатке этого соуса... Так-с. Свет, пожалуй, чуточку режет. Может быть, если... Ну да уж ничего, сойдет.

Он развернул листок и, не надевая роговых очков, а только держа их перед глазами, отчетливо начал читать:

«Узник! В этот торжественный час, когда все взоры...» Я думаю, нам лучше встать, – озабоченно прервал он самого себя и поднялся со стула.

Цинциннат встал тоже.

«Узник! В этот торжественный час, когда все взоры направлены на тебя, и судьи твои ликуют, и ты готовишься к тем произвольным телодвижениям, которые непосредственно следуют за отсечением головы, я обращаюсь к тебе с напутственным словом. Мне выпало на долю, – и этого я не забуду никогда, – обставить твоё житие в темнице всеми теми многочисленными удобствами, которые позволяет закон. Посему я счастлив буду уделить всевозможное внимание всякому изъятию твоей благодарности, но желательно в письменной форме и на одной стороне листа».

– Вот, – сказал директор, складывая очки. – Это все. Я вас больше не удерживаю. Известите, если что понадобится.

Он сел к столу и начал быстро писать, тем показывая, что аудиенция кончена. Цинциннат вышел.

В коридоре на стене дремала тень Родиона, сгорбившись на теневом табурете, – и лишь мельком, с краю, вспыхнуло несколько рыжих волосков. Далее, у загиба стены, другой стражник, сняв свою форменную маску, утирал рукавом лицо. Цинциннат начал спускаться по лестнице. Каменные ступени были склизки и узки, с неосязаемой спиралью призрачных перил. Дойдя донизу, он пошел опять коридорами. Дверь с надписью на зеркальный выворот: «Канцелярия» – была отпахнута; луна сверкала на чернильнице, а какая-то под столом мусорная корзинка неистово шеберстила и клокотала: должно быть, в нее свалилась мышь. Миновав еще много дверей, Цинциннат споткнулся, подпрыгнул и очутился в небольшом дворе, полном разных частей разобранной луны. Пароль в эту ночь был: молчание, – и солдат у ворот отозвался молчанием на молчание Цинцинната, пропуская его, и у всех прочих ворот было то же. Оставив за собой туманную громаду крепости, он заскользил вниз по крутому, росистому дерну, попал на пепельную тропу между скал, пересек дважды, трижды извивы главной дороги, которая, наконец стряхнув последнюю тень крепости, полилась прямее, вольнее, – и по узорному мосту через высохшую речку Цинциннат вошел в город. Поднявшись на изволок и повернув налево по Садовой, он пронесся вдоль седых цветущих кустов. Где-то мелькнуло освещенное окно; за какой-то оградой собака громыхнула цепью, но не залаяла. Ветерок делал все, что мог, чтобы освежить беглецу голую шею. Изредка наплыв благоухания говорил о близости Тамариных Садов. Как он знал эти сады! Там, когда Марфинька была невестой и боялась лягушек, майских жуков... Там, где, бывало, когда все становилось невтерпеж и можно было одному, с кашей во рту из разжеванной сирени, со слезами... Зеленое, муравчатое Там, тамошние холмы, томление прудов, тамтатам далекого оркестра... Он повернул по Матюхинской мимо развалин древней фабрики, гордости города, мимо шепчущих лип, мимо празднично настроенных белых дач телеграфных служащих, вечно справляющих чьи-нибудь именины, и вышел на Телеграфную. Оттуда шла в гору узкая улочка, и опять сдержанно зашумели липы. Двое мужчин тихо беседовали во мраке сквера на подразумеваемой скамейке. «А ведь он ошибается», – сказал один. Другой отвечал неразборчиво, и оба вроде как бы вздохнули, естественно смешиваясь с шелестом листвы. Цинциннат выбежал на круглую площадку, где луна сторожила знакомую статую поэта, похожую на снеговую бабу, – голова кубом, слепившиеся ноги, – и, пробежав еще несколько шагов, оказался на своей улице. Справа, на стенах

одинаковых домов неодинаково играл лунный рисунок веток, так что только по выражению теней, по складке на переносице между окон, Цинциннат и узнал свой дом. В верхнем этаже окно Марфиньки было темно, но открыто. Дети, должно быть, спали на горбоносом балконе: там белелось что-то. Цинциннат вбежал на крыльцо, толкнул дверь и вошел в свою освещенную камеру. Обернулся, но был уже заперт. Ужасно! На столе блестел карандаш. Паук сидел на желтой стене.

– Потушите! – крикнул Цинциннат.

Наблюдавший за ним в глазок выключил свет. Темнота и тишина начали соединяться; но вмешались часы, пробили одиннадцать, подумали и пробили еще один раз, а Цинциннат лежал навзничь и смотрел в темноту, где тихо рассыпались светлые точки, постепенно исчезая. Совершилось полное слияние темноты и тишины. Вот тогда, только тогда (то есть лежа навзничь на тюремной койке, за полночь, после ужасного, ужасного, я просто не могу тебе объяснить, какого ужасного дня) Цинциннат Ц. ясно оценил свое положение.

Сначала на черном бархате, каким по ночам обложены с исподу веки, появилось, как медальон, лицо Марфиньки: кукольный румянец, блестящий лоб с детской выпуклостью, редкие брови вверх, высоко над круглыми, карими глазами. Она заморгала, поворачивая голову, и на мягкой, сливочной белизны шее была черная бархатка, а бархатная тишина платья, расширяясь книзу, сливалась с темнотой. Такой он увидел ее нынче среди публики, когда его подвели к свежепокрашенной скамье подсудимых, на которую он сесть не решился, а стоял рядом, и все-таки измарал в изумрудном руки, и журналисты жадно фотографировали отпечатки его пальцев, оставшиеся на спинке скамьи. Он видел их напряженные лбы, он видел ярко-цветные панталоны щеголей, ручные зеркала и переливчатые шали щеголих, – но лица были неясны, – одна только круглоглазая Марфинька из всех зрителей и запомнилась ему. Адвокат и прокурор, оба крашенные и очень похожие друг на друга (закон требовал, чтобы они были единоутробными братьями, но не всегда можно было подобрать, и тогда гримировались), проговорили с виртуозной скоростью те пять тысяч слов, которые полагались каждому. Они говорили попеременно, и судья, следя за мгновенными репликами, вправо, влево мотал головой, и равномерно мотались все головы, – и только одна Марфинька, слегка повернувшись, неподвижно, как удивленное дитя, уставилась на Цинцинната, стоявшего рядом с ярко-зеленой садовой скамьей. Адвокат, сторонник классической декапитации, выиграл без труда против затейника прокурора, и судья синтезировал дело.

Обрывки этих речей, в которых, как пузыри воды, стремились и лопались слова «прозрачность» и «непроницаемость», теперь звучали у Цинцинната в ушах, и шум крови превращался в рукоплескания, а медальонное лицо Марфиньки все оставалось в поле его зрения и потухло только тогда, когда судья, – приблизившись вплотную, так что можно было различить на его крупном смуглом носу расширенные поры, одна из которых, на самой дуле, выпустила одинокий, но длинный волос, – произнес сырым шепотом: «С любезного разрешения публики, вам наденут красный цилиндр», – выработанная законом подставная фраза, истинное значение коей знал всякий школьник.

«А я ведь сработан так тщательно, – думал Цинциннат, плача во мраке. – Изгиб моего позвоночника высчитан так хорошо, так таинственно. Я чувствую в икрах так много туго накрученных верст, которые мог бы в жизни еще пробежать. Моя голова так удобна...»

Часы пробили неизвестно к чему относившуюся половину.

II

Утренние газеты, которые с чашкой тепловатого шоколада принес ему Родион, – местный листок «Доброе утречко» и более серьезный орган «Голос публики», – как всегда, кишели цветными снимками. В первой он нашел фасад своего дома: дети глядят с балкона, тесть глядит из кухонного окна, фотограф глядит из окна Марфиньки; во второй – знакомый вид из этого окна на палисадник с яблоней, отворенной калиткой и фигурой фотографа, снимающего фасад. Он нашел, кроме того, самого себя на двух снимках, изображающих его в кроткой юности.

Цинциннат родился от безвестного прохожего и детство провел в большом общежитии за Стропью (только уже на третьем десятке он познакомился мимоходом со щебечущей, щупленькой, еще такой молодой на вид Цецилией Ц., зачавшей его ночью на Прудах, когда была совсем девочкой). С ранних лет, чудом смекнув опасность, Цинциннат бдительно изощрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская, а потому в состоянии покоя производя диковинное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов, но стоило на мгновение забыться, не совсем так внимательно следить за собой, за поворотами хитро освещенных плоскостей души, как сразу поднималась тревога. В разгаре общих игр сверстники вдруг от него отпадали, словно почуя, что ясность его взгляда да голубизна висков – лукавый отвод и что в действительности Цинциннат непроницаем. Случалось, учитель среди наступившего молчания, в досадливом недоумении собрав и наморщив все запасы кожи около глаз, долго глядел на него и наконец спрашивал:

– Да что с тобой, Цинциннат?

Тогда Цинциннат брал себя в руки и, прижав к груди, относил в безопасное место.

С течением времени безопасных мест становилось все меньше, всюду проникало ласковое солнце публичных забот, и было так устроено окошечко в двери, что не существовало во всей камере ни одной точки, которую наблюдатель за дверью не мог бы взглядом проткнуть. Поэтому Цинциннат не сгреб пестрых газет в ком, не швырнул, – как сделал его призрак (призрак, сопровождающий каждого из нас – и тебя, и меня, и вот его, – делающий то, что в данное мгновение хотелось бы сделать, а

нельзя...). Цинциннат спокойненько отложил газеты и допил шоколад. Коричневая пенка, покрывавшая шоколадную гладь, превратилась на губе в сморщенную дрянь. Затем Цинциннат надел черный халат, слишком для него длинный, черные туфли с помпонами, черную ермолку – и заходил по камере, как ходил каждое утро, с первого дня заключения.

Детство на загородных газонах. Играли в мяч, в свинью, в карамору, в чехарду, в малину, в тычь... Он был легок и ловок, но с ним не любили играть. Зимой городские скаты гладко затягивались снегом, и как же славно было мчаться вниз на «стеклянных» сабуровских санках... Как быстро наступала ночь, когда с катанья возвращались домой... Какие звезды, – какая мысль и грусть наверху, – а внизу ничего не знают. В морозном металлическом мраке желтым и красным светом горели съедобные окна; женщины в лисьих шубках поверх шелковых платьев перебежали через улицу из дома в дом; электрические вагонетки, возбуждая на миг сияющую вьюгу, проносились по запыленным рельсам.

Голосок: «Аркадий Ильич, посмотрите на Цинцинната...»

Он не сердился на доносчиков, но те умножались и, мужая, становились страшны. В сущности темный для них, как будто был вырезан из кубической сажени ночи, непроницаемый Цинциннат поворачивался туда-сюда, ловя лучи, с панической поспешностью стараясь так стать, чтобы казаться светопроводным. Окружающие понимали друг друга с полуслова, – ибо не было у них таких слов, которые бы кончались как-нибудь неожиданно, на ижицу, что ли, обращаясь в пращу или птицу, с удивительными последствиями. В пыльном маленьком музее, на Втором Бульваре, куда его водили в детстве и куда он сам потом водил питомцев, были собраны редкие, прекрасные вещи, – но каждая была для всех горожан, кроме него, так же ограничена и прозрачна, как и они сами друг для друга. То, что не названо, – не существует. К сожалению, все было названо.

«Бытие безымянное, существенность беспредметная...» – прочел Цинциннат на стене там, где дверь, отпахиваясь, прикрывала стену.

«Вечные именинники, мне вас —» – написано было в другом месте.

Левее, почерком стремительным и чистым, без единой лишней линии: «Обратите внимание, что когда они с вами говорят —» – дальше, увы, было стерто.

Рядом – корявыми детскими буквами: «Писателей буду штрафовать» – и подпись: директор тюрьмы.

Еще можно было разобрать одну ветхую и загадочную строку: «Смерьте до смерти, – потом будет поздно».

– Меня, во всяком случае, смерили, – сказал Цинциннат, тронувшись опять в путь и на ходу легонько постукивая костяшками руки по стенам. – Как мне, однако, не хочется умирать! Душа зарылась в подушку. Ох, не хочется! Холодно будет вылезать из теплого тела. Не хочется, погодите, дайте еще подремать.

Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать лет было Цинциннату, когда он начал работать в мастерской игрушек, куда был определен по причине малого роста. По вечерам же упивался старинными книгами под ленивый, пленительный плеск мелкой волны, в плавучей библиотеке имени д-ра Синеокова, утонувшего как раз в том месте городской речки. Бормотание цепей, плеск, оранжевые абажурчики на галерейке, плеск, липкая от луны водяная гладь, – и вдали, в черной паутине высокого моста, пробегающие огоньки. Но потом ценные волюмы начали портиться от сырости, так что в конце концов пришлось речку осушить, отведя всю воду в Стропь посредством специально прорытого канала.

Работая в мастерской, он долго бился над затейливыми пустяками, занимался изготовлением мягких кукол для школьниц, – тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький, в зипуне, и множество других, например: застегнутый на все пуговицы Добролюбов в очках без стекол. Искусственно пристрастясь к этому мифическому девятнадцатому веку, Цинциннат уже готов был совсем углубиться в туманы древности и в них найти подложный приют, но другое отвлекло его внимание.

Там-то, на той маленькой фабрике, работала Марфинька, – полуоткрыв влажные губы, целилась ниткой в игольное ушко: «Здравствуй, Цинциннатик!» – и вот начались те упоительные блуждания в очень, очень просторных (так что даже случалось – холмы в отдалении бывали дымчаты от блаженства своего отдаления) Тамариных Садах, где в три ручья плачут без причины ивы, и тремя каскадами, с небольшой радугой над каждым, ручьи свергаются в озеро, по которому плывет лебедь рука об руку со своим отражением. Ровные поляны, рододендрон, дубовые рощи, веселые садовники в зеленых сапогах, день-деньской играющие в прятки; какой-нибудь грот, какая-нибудь идиллическая скамейка, на которой три шутника оставили три аккуратных кучки (уловка, – подделка из коричневой крашеной жести), – какой-нибудь олененок, выскочивший в аллею и тут же у вас на глазах превратившийся в дрожащие пятна солнца, – вот они были каковы, эти сады! Там, там – лепет Марфиньки, ее ноги в белых чулках и

бархатных туфельках, холодная грудь и розовые поцелуи со вкусом лесной земляники. Вот бы увидеть отсюда – хотя бы древесные макушки, хотя бы гряды отдаленных холмов...

Цинциннат подвязал потуже халат. Цинциннат сдвинул и потянул, пятясь, кричащий от злости стол: как неохотно, с какими содроганиями он ехал по каменному полу, его содрогания передавались пальцам Цинцинната, нёбу Цинцинната, отступавшего к окну (то есть к той стене, где высоко, высоко была за решеткой пологая впадина окна). Упала громкая ложечка, затанцевала чашка, покотился карандаш, заскользила книга по книге. Цинциннат поднял брыкающийся стул на стол. Сам наконец влез. Но, конечно, ничего не было видно, – только жаркое небо в тонко зачесанных сединах, оставшихся от облаков, не вынесших синевы. Цинциннат едва мог дотянуться до решетки, за которой покато поднимался туннель окошка с другой решеткой в конце и световым повторением ее на облупившейся стенке каменной пади. Там, сбоку, тем же чистым презрительным почерком, как одна из полустертых фраз, читанных давеча, было написано: «Ничего не видеть, я пробовал тоже».

Цинциннат стоял на цыпочках, держась маленькими, совсем белыми от напряжения руками за черные железные прутья, и половина его лица была в солнечную решетку, и левый ус золотился, и в зеркальных зрачках было по крохотной золотой клетке, а внизу, сзади, из слишком больших туфель приподнимались пятки.

– Того и гляди, свалитесь, – сказал Родион, который уже с полминуты стоял подле и теперь крепко сжал ножку дрогнувшего стула. – Ничего, ничего, держу. Можете слезать.

У Родиона были васильковые глаза и, как всегда, чудная рыжая борода. Это красивое русское лицо было обращено вверх к Цинциннату, который босой подошвой на него наступил, то есть призрак его наступил, сам же Цинциннат уже сошел со стула на стол. Родион, обняв его как младенца, бережно снял, – после чего со скрипичным звуком отодвинул стол на прежнее место и присел на него с краю, болтая той ногой, что была повыше, а другой упираясь в пол, – приняв фальшиво-развязную позу оперных гуляк в сцене погребка, а Цинциннат ковырял шнурок халата, потупясь, стараясь не плакать.

Родион баритонным басом пел, играя глазами и размахивая пустой кружкой. Эту же удалую песню певала прежде и Марфинька. Слезы брызнули из глаз Цинцинната. На какой-то предельной ноте Родион грохнул кружкой об пол и соскочил со стола. Дальше он уже пел хором, хотя был один. Вдруг поднял вверх обе руки и вышел.

Цинциннат, сидя на полу, сквозь слезы посмотрел ввысь, где отражение решетки уже переменило место. Он попробовал – в сотый раз – подвинуть стол, но, увы, ножки были от века привинчены. Он съел винную ягоду и опять зашагал по камере.

Девятнадцать, двадцать, двадцать один. В двадцать два года был переведен в детский сад учителем разряда Ф, и тогда же на Марфиньке женился. Едва ли не в самый день, когда он вступил в исполнение новых своих обязанностей (состоявших в том, чтобы занимать хроменьких, горбатеньких, косеньких), был важным лицом сделан на него донос второй степени. Осторожно, в виде предположения высказывалась мысль об основной нелегальности Цинцинната. Заодно с этим меморандумом были отцами города рассмотрены и старые жалобы, поступавшие время от времени со стороны его наиболее прозорливых товарищей по работе в мастерской. Председатель воспитательного совета и некоторые другие должностные лица поочередно запирались с ним и производили над ним законом предписанные опыты. В течение нескольких суток ему не давали спать, принуждали к быстрой бессмысленной болтовне, доводимой до опушки бреда, заставляли писать письма к различным предметам и явлениям природы, разыгрывать житейские сценки, а также подражать разным животным, ремеслам и недугам. Все это он проделал, все это он выдержал – оттого что был молод, изворотлив, свеж, жаждал жить, – пожить немного с Марфинькой. Его нехотя отпустили, разрешив ему продолжать заниматься с детьми последнего разбора, которых было не жаль, – дабы посмотреть, что из этого выйдет. Он водил их гулять парами, играя на маленьком портативном музыкальном ящичке, вроде кофейной мельницы, – а по праздникам качался с ними на качелях: вся гроздь замирала, взлетая; пищала, ухая вниз. Некоторых он учил читать.

Между тем Марфинька в первый же год брака стала ему изменять: с кем попало и где попало. Обыкновенно, когда Цинциннат приходил домой, она, с какой-то сытой улыбочкой прижимая к шее пухлый подбородок, как бы журя себя, глядя исподлобья честными карими глазами, говорила низким голубиным голоском: «А Марфинька нынче опять это делала». Он несколько секунд смотрел на нее, приложив, как женщина, ладонь к щеке, и потом, беззвучно воя, уходил через все комнаты, полные ее родственников, и запирался в уборной, где топал, шумел водой, кашлял, маскируя рыдания. Иногда, оправдываясь, она ему объясняла: «Я же, ты знаешь, добренькая: это такая маленькая вещь, а мужчине такое облегчение».

Скоро она забеременела – и не от него. Разрешилась мальчиком, немедленно забеременела снова – и снова не от него – и родила девочку.

Мальчик был хром и зол; тупая, тучная девочка – почти слепа. Вследствие своих дефектов оба ребенка попали к нему в сад, и странно бывало видеть ловкую, ладную, румяную Марфиньку, ведущую домой этого калеку, эту тумбочку. Цинциннат понемножку перестал следить за собой вовсе, – и однажды, на каком-то открытом собрании в городском парке, вдруг пробежала тревога, и один произнес громким голосом: «Горожане, между нами находится...» – тут последовало страшное, почти забытое слово, – и налетел ветер на акации, – и Цинциннат не нашел ничего лучше, как встать и удалиться, рассеянно срывая листики с придорожных кустов. А спустя десять дней он был взят.

«Вероятно, завтра», – сказал Цинциннат, медленно шагая по камере. «Вероятно, завтра», – сказал Цинциннат и сел на койку, уминая ладонью лоб. Закатный луч повторял уже знакомые эффекты. «Вероятно, завтра, – сказал со вздохом Цинциннат. – Слишком тихо было сегодня, а уже завтра, спозаранку...»

Некоторое время все молчали: глиняный кувшин с водой на дне, поивший всех узников мира; стены, друг другу на плечи положившие руки, как четверо неслышным шепотом обсуждающих квадратную тайну; бархатный паук, похожий чем-то на Марфиньку; большие черные книги на столе...

«Какое недоразумение!» – сказал Цинциннат и вдруг рассмеялся. Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух. Цинциннат сперва просто наслаждался прохладой; затем, окунувшись совсем в свою тайную среду, он в ней вольно и весело —

Грянул железный гром засова, и Цинциннат мгновенно оброс всем тем, что сбросил, вплоть до ермолки. Тюремщик Родион принес в круглой корзиночке, выложенной виноградными листьями, дюжину палевых слив – подарок супруги директора.

Цинциннат, тебя освежило преступное твое упражнение.

III

Цинциннат проснулся от рокового рокота голосов, нараставшего в коридоре.

Хотя накануне он и готовился к такому пробуждению, – все равно – с сердцем, с дыханием не было сладу. Полою сердце прикрыв, чтобы оно не видело, – тише, это ничего (как говорят ребенку в минуту невероятного бедствия), – прикрыв сердце и слегка привстав, Цинциннат слушал. Было шарканье многих шагов, в различных слоях слышимости; были голоса – тоже во многих разрезах; один набегал, вопрошающий; другой, поближе, отвечивал. Спеша из глубины, кто-то пронесся и заскользил по камню, как по льду. Бас директора произнес среди гомона несколько слов – невнятных, но бессомненно повелительных. Страшнее всего было то, что сквозь эту возню пробивался детский голос, – у директора была дочка. Цинциннат различал и жалующийся тенорок своего адвоката, и бормотание Родиона... Вот опять, на бегу, кто-то задал гулкий вопрос, и кто-то гулко ответил. Кряхтение, треск, стукотня, – точно шарили палкой под лавкой. «Не нашли?» – внятно спросил директор. Пробежали шаги. Пробежали шаги. Пробежали, вернулись. Цинциннат, изнемогая, спустил ноги на пол: так и не дали свидания с Марфинькой... Начать одеваться, или придут меня наряжать? Ах, довольно, войдите...

Но его еще промучили минуты две. Вдруг дверь отворилась и, скользя, влетел адвокат.

Он был взлохмачен, потен. Он теребил левую манжету, и глаза у него кружились.

– Запонку потерял, – воскликнул он, быстро, как пес, дыша. – Задел обо что... должно быть... когда с милой Эммочкой... шалунья всегда... за фалды... всякий раз как зайду... я, главное, слышал, как что-то... но не обратил... смотрите, цепочка, очевидно... очень дорожил... ну, ничего не поделаешь... может быть, еще... я обещал всем сторожам... а досадно...

– Глупая, сонная ошибка, – тихо сказал Цинциннат. – Я превратно истолковал суету. Это вредно для сердца.

– Да нет, спасибо, пустяки, – рассеянно пробормотал адвокат. При этом он глазами так и рыскал по углам камеры. Видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая. Он был огорчен потерей вещицы.

Цинциннат с легким стоном лег обратно в постель. Тот сел у него в

ногах.

– Я к вам шел, – сказал адвокат, – такой бодрый, веселый... Но теперь меня расстроил этот пустяк, – ибо, в конце концов, это же пустяк, согласитесь, – есть вещи поважнее. Ну, как вы себя чувствуете?

– Склонным к откровенной беседе, – прикрыв глаза, отвечал Цинциннат. – Хочу поделиться с вами некоторыми своими умозаключениями. Я окружен какими-то убогими призраками, а не людьми. Меня они терзают, как могут терзать только бессмысленные видения, дурные сны, отбросы бреда, шваль кошмаров – и все то, что сходит у нас за жизнь. В теории – хотелось бы проснуться. Но проснуться я не могу без посторонней помощи, а этой помощи безумно боюсь, да и душа моя обленилась, привыкла к своим тесным пеленам. Из всех призраков, окружающих меня, вы, Роман Виссарионович, самый, кажется, убогий, но с другой стороны, – по вашему логическому положению в нашем выдуманном быту, – вы являетесь в некотором роде советником, заступником...

– К вашим услугам, – сказал адвокат, радуясь, что Цинциннат наконец разговорился.

– Вот я и хочу вас спросить: на чем основан отказ сообщить мне точный день казни? Погодите, – я еще не кончил. Так называемый директор отлынивает от прямого ответа, ссылается на то, что... Погодите же! Я хочу знать, во-первых: от кого зависит назначение дня. Я хочу знать, во-вторых: как добиться толку от этого учреждения, или лица, или собрания лиц...

Адвокат, который только что порывался говорить, теперь почему-то молчал. Его крашеное лицо с синими бровями и длинной заячьей губой не выражало особого движения мысли.

– Оставьте манжету, – сказал Цинциннат, – и попробуйте сосредоточиться.

Роман Виссарионович порывисто переменил положение тела и сцепил беспокойные пальцы. Он проговорил жалобным голосом:

– Вот за этот тон...

– Меня и казнят, – сказал Цинциннат, – знаю. Дальше!

– Давайте переменим разговор, умоляю вас, – воскликнул Роман Виссарионович. – Почему вы не можете остаться хоть теперь в рамках дозволенного? Право же, это ужасно, это выше моих сил. Я к вам зашел, просто чтобы спросить вас, нет ли у вас каких-либо законных желаний... например, – (тут у него лицо оживилось), – вы, может, желали бы иметь в печатном виде речи, произнесенные на суде? В случае такового желания вы обязаны в кратчайший срок подать соответствующее прошение, которое мы

оба с вами сейчас вместе и составили бы, – с подробно мотивированным указанием, сколько именно экземпляров речей требуется вам и для какой цели. У меня есть как раз свободный часок, давайте, ах, давайте этим займемся, прошу вас! Я даже специальный конверт заготовил.

– Курьеза ради... – проговорил Цинциннат, – но прежде... Неужто же и вправду нельзя добиться ответа?

– Специальный конверт, – повторил адвокат, соблазняя.

– Хорошо, дайте сюда, – сказал Цинциннат и разорвал толстый, с начинкой, конверт на завивающиеся клочки.

– Это вы напрасно, – едва не плача, вскричал адвокат. – Это очень напрасно. Вы даже не понимаете, что вы сделали. Может, там находился приказ о помиловании. Второго не достать!

Цинциннат поднял горсть клочков, попробовал составить хотя бы одно связное предложение, но все было спутано, искажено, разъято.

– Вот вы всегда так, – поддвигал адвокат, держа себя за виски и шагая по камере. – Может, спасение ваше было в ваших же руках, а вы его... Ужасно! Ну что мне с вами делать? Теперь пиши пропало... А я-то – такой довольный... Так подготовлял вас...

– Можно? – растянутым в ширину голосом спросил директор, приоткрыв дверь. – Я вам не помешаю?

– Просим, Родриг Иванович, просим, – сказал адвокат, – просим, Родриг Иванович, дорогой. Только не очень-то у нас весело...

– Ну, а как нонче наш симпатичный смертник, – пошутил элегантный, представительный директор, пожимая в своих мясистых лиловых лапах маленькую холодную руку Цинцинната. – Все хорошо? Ничего не болит? Все болтаете с нашим неутомимым Романом Виссарионовичем? Да, кстати, голубчик Роман Виссарионович... могу вас порадовать, – озорница моя только что нашла на лестнице вашу запонку. La voici^[3]. Это ведь французское золото, не правда ли? Весьма изящно. Compliments я обычно не делаю, но должен сказать...

Оба отошли в угол, делая вид, что разглядывают прелестную штучку, обсуждают ее историю, ценность, удивляются. Цинциннат воспользовался этим, чтобы достать из-под койки – и с тоненьким бисерным звуком, под конец с запинками...

– Да, большой вкус, большой вкус, – повторял директор, возвращаясь из угла под руку с адвокатом. – Вы, значит, здоровы, молодой человек, – бессмысленно обратился он к Цинциннату, влезавшему обратно в постель. – Но капризничать все-таки не следует. Публика – и все мы, как представители публики, хотим вашего блага, это, кажется, ясно. Мы даже

готовы пойти навстречу вам в смысле облегчения одиночества. На днях в одной из наших литерных камер поселится новый арестант. Познакомитесь, это вас развлечет.

– На днях? – переспросил Цинциннат. – Значит, дней-то будет еще несколько?

– Нет, каков, – засмеялся директор, – все ему нужно знать. А, Роман Виссарионович?

– Ох, друг мой, и не говорите, – вздохнул адвокат.

– Да-с, – продолжал тот, потряхивая ключами, – вы должны быть покладистее, сударик. А то все: гордость, гнев, глум. Я им вечор слив этих, значит, нес, – так что же вы думаете? – не изволили кушать, погнушались. Да-с. Вот я вам про нового арестантика-то начал. Ужо накалякаетесь с ним, а то, вишь, нос повесили. Что, не так говорю, Роман Виссарионович?

– Так, Родион, так, – подтвердил адвокат с невольной улыбкой.

Родион погладил бороду и продолжал:

– Очень жалко стало их мне, – вхожу, гляжу, – на столе-стуле стоят, к решетке рученьки-ноженьки тянут, ровно мартышка кволая. А небо-то синехонько, касаточки летают, опять же облачка, – благодать, ра-адость! Сымаю их это, как дите малое, со стола-то, – а сам реву, – вот истинное слово – реву... Очень, значит, меня эта жалость разобрала.

– Повести его, что ли, наверх? – нерешительно предложил адвокат.

– Это, что же, можно, – протянул Родион со степенным добродушием, – это всегда можно.

– Облачитесь в халат, – произнес Роман Виссарионович.

Цинциннат сказал:

– Я покоряюсь вам, – призраки, оборотни, пародии. Я покоряюсь вам. Но все-таки я требую, – вы слышите, требую (и другой Цинциннат истерически затопал, теряя туфли), – чтобы мне сказали, сколько мне осталось жить... и дадут ли мне свидание с женой.

– Вероятно, дадут, – ответил Роман Виссарионович, переглянувшись с Родионом. – Вы только не говорите так много. Ну-с, пошли.

– Пожалуйста, – сказал Родион и толкнул плечом отпертую дверь.

Все трое вышли: впереди – Родион, колченогий, в старых выцветших шароварах, отвисших на заду; за ним – адвокат, во фраке, с нечистой тенью на целлулоидовом воротничке и каемкой розовой кисеи на затылке, там, где кончался черный парик; за ним, наконец, Цинциннат, теряющий туфли, запахивающий полы халата.

У загиба коридора другой стражник, безымянный, дружески отдал им честь. Бледный каменный свет сменялся областями сумрака. Шли, шли, –

за излукой излука, – и несколько раз проходили мимо одного и того же узора сырости на стене, похожего на страшную ребристую лошадь. Кое-где надо было включить электричество; горьким, желтым огнем загоралась пыльная лампочка, вверху или сбоку. Случалось, впрочем, что она была мертвая, и тогда шаркали в плотных потемках. В одном месте, где неожиданно и необъяснимо падал сверху небесный луч и дымился, сиял, разбившись на щербатых плитах, дочка директора, Эммочка, в сияющем клетчатом платье и клетчатых носках, – дитя, но с мраморными икрами маленьких танцовщиц, – играла в мяч, мяч равномерно стучался об стену. Она обернулась, четвертым и пятым пальцем смазывая прочь со щеки белокурую прядь, и проводила глазами коротенькое шествие. Родион, проходя, ласково позвенел ключами; адвокат вскользь погладил ее по светящимся волосам; но она глядела на Цинцинната, который испуганно улыбнулся ей. Дойдя до следующего колена коридора, все трое оглянулись. Эммочка смотрела им вслед, слегка всплескивая блестящим красно-синим мячом.

Опять долго шли в темноте, покуда не попали в тупик, где, над свернутой кишкой брандспойта, светилась красная лампочка. Родион отпер низкую, кованую дверь; за ней круто заворачивались вверх ступени каменной лестницы. Тут несколько изменился порядок: Родион, потопав в такт на месте, пропустив вперед сперва адвоката, затем Цинцинната, мягко переступил и замкнул шествие. По крутой лестнице, с постепенным развитием которой совпадало медленное светление тумана, в котором она росла, подниматься было нелегко, а поднимались так долго, что Цинциннат от нечего делать принялся считать ступени, досчитал до трехзначной цифры, но спутался, оступившись. Воздух исподволь бледнел. Цинциннат, утомясь, лез как ребенок, начиная все с той же ноги. Еще один заворот, и вдруг налетел густой ветер, ослепительно распахнулось летнее небо, пронзительно зазвучали крики ласточек.

Наши путешественники очутились на широкой башенной террасе, откуда открывался вид на расстояние, дух захватывающее, ибо не только башня была громадна, но вообще вся крепость громадно высилась на громадной скале, коей она казалась чудовищным порождением. Далеко внизу виднелись почти отвесные виноградники, и бланжевая дорога, вясь, спускалась к безводному руслу реки, и через выгнутый мост шел кто-то крохотный в красном, и бегущая точка перед ним была, вероятно, собака.

Дальше большим полукругом расположился на солнцепеке город: разноцветные дома то шли ровными рядами, сопровождаемые круглыми деревьями, то криво сползали по скатам, наступая на собственные тени, – и

можно было различить движение на Первом Бульваре и особенное мерцание в конце, где играл знаменитый фонтан. А еще дальше, по направлению к дымчатым складкам холмов, замыкавших горизонт, тянулась темная рябь дубовых рощ, там и сям сверкало озерцо, как ручное зеркало, – а другие яркие овалы воды собирались, горя в нежном тумане, вон там на западе, где начиналась жизнь излучистой Стропи. Цинциннат, приложив ладонь к щеке, в неподвижном, невыразимо-смутном и, пожалуй, даже блаженном отчаянии, глядел на блеск и туман Тамариных Садов, на сизые, тающие холмы за ними, – ах, долго не мог оторваться...

В нескольких шагах от него, на широкий каменный парапет, поросший поверху каким-то предприимчивым злаком, положил локти адвокат, его спина была запачкана в известку. Он задумчиво смотрел в пространство, левым лакированным башмаком наступая на правый и так оттягивая пальцами щеки, что выворачивались нижние веки. Родион нашел где-то метлу и молча мел плиты террасы.

– Как это все обаятельно, – обратился Цинциннат к садам, к холмам, – (и было почему-то особенно приятно это «обаятельно» на ветру, вроде того как дети зажимают и вновь обнажают уши, забавляясь обновлением слышимого мира). – Обаятельно! Я никогда не видал именно такими этих холмов, такими таинственными. Неужели в их складках, в их тенистых долинах нельзя было бы мне. – Нет, лучше об этом не думать.

Он обошел террасу кругом. На севере разлеглась равнина, по ней бежали тени облаков; луга сменялись нивами; за изгибом Стропи виднелись наполовину заросшие очертания аэродрома и строение, где содержался почтенный, дряхлый, с рыжими, в пестрых заплатах, крыльями самолет, который еще иногда пускался по праздникам – главным образом для развлечения калек. Вещество устало. Сладко дремало время. Был один человек в городе, аптекарь, чей прадед, говорят, оставил запись о том, как купцы летали в Китай.

Цинциннат, обойдя террасу, опять вернулся к южному ее парапету. Его глаза совершали беззаконнейшие прогулки. Теперь мнилось ему, что он различает тот цветущий куст, ту птицу, ту уходящую под навес плюща тропинку.

– Будет с вас, – добродушно сказал директор, бросая метлу в угол и надевая опять свой сюртук. – Айда по домам.

– Да, пора, – откликнулся адвокат, посмотрев на часы.

И то же маленькое шествие двинулось в обратный путь. Впереди – директор Родриг Иванович, за ним – адвокат Роман Виссарионович, за ним – узник Цинциннат, нервно позевывающий после свежего воздуха. Сюртук

у директора был сзади запачкан в известку.

IV

Она вошла, воспользовавшись утренним явлением Родиона, – проскользнув под его руками, державшими поднос.

– Тю-тю-тю, – предостерегающе произнес он, заклиная шоколадную бурю. Мягкой ногой прикрыл за собой дверь, ворча в усы: – Вот проказница...

Эммочка между тем спряталась от него за стол, присев на корточки.

– Книжку читаете? – заметил Родион, светясь добротой. – Дело хорошее.

Цинциннат, не поднимая глаз со страницы, издал мычание, утвердительный ямб, – но глаза уже не брали строчек.

Родион, исполнив нехитрые свои обязанности, – тряпкой погнав расплясавшуюся в луче пыль и накормив паука, – удалился.

Эммочка – все еще на корточках, но чуть вольнее, чуть покачиваясь, как на рессорах, – скрестив голые пушистые руки, полуоткрыв розовый рот и моргая длинными, бледными, как бы даже седыми, ресницами, смотрела вверх стола на дверь. Уже знакомое движение: быстро, первыми попавшимися пальцами, отвела льняные волосы с виска, кинув искоса взгляд на Цинцинната, который отложил книжку и ждал, что будет дальше.

– Ушел, – сказал Цинциннат.

Она встала с корточек, но, еще согбенная, смотрела на дверь. Была смущена, не знала, что предпринять. Вдруг, оскалась, сверкнув балеринными икрами, бросилась к двери, – разумеется, запертой. От ее муарового кушака в камере ожил воздух.

Цинциннат задал ей два обычных вопроса. Она ужимчиво себя назвала и ответила, что двенадцать.

– А меня тебе жалко? – спросил Цинциннат.

На это она не ответила ничего. Подняла к лицу глиняный кувшин, стоявший в углу. Пустой, гулкий. Погукала в его глубину, а через мгновение опять метнулась, – и теперь стояла, прислонившись к стене, опираясь одними лопатками да локтями, скользя вперед напряженными ступнями в плоских туфлях – и опять выправляясь. Про себя улыбнулась, а затем хмуро, как на низкое солнце, взглянула на Цинцинната, продолжая сползать. По всему судя, – это было дикое, беспокойное дитя.

– Неужели тебе не жалко меня? – сказал Цинциннат. – Невозможно, не допускаю. Ну, поди сюда, глупая лань, и поведай мне, в какой день я умру.

Но Эммочка ничего не ответила, а съехала на пол и там смиренно села, прижав подбородок к поднятым сжатым коленкам, на которые натянула подол, показывая снизу гладкие ляжки.

– Скажи мне, Эммочка, – я так прошу тебя... Ты ведь все знаешь, – я чувствую, что знаешь... Отец говорил за столом, мать говорила на кухне... Все, все говорят. Вчера в газете было аккуратное оконце, – значит, толкуют об этом, и только я один...

Она, как поднятая вихрем, вскочила с пола и, опять кинувшись к двери, застучала в нее – не ладонями, а скорее пятками рук. Ее распушенные, шелковисто-бледные волосы кончались длинными буклями.

«Будь ты взрослой, – подумал Цинциннат, – будь твоя душа хоть слегка с моей поволокой, ты, как в поэтической древности, напоила бы сторожей, выбрав ночь потемней...»

– Эммочка! – воскликнул он. – Умоляю тебя, скажи мне, я не отстану, скажи мне, когда я умру?

Грызая палец, она подошла к столу, где громоздились книги. Распахнула одну, перелистала с треском, чуть не вырывая страницы, захлопнула, взяла другую. Какая-то зыбь все бежала по ее лицу, – то морщился веснушчатый нос, то язык снутри натягивал щеку.

Лязгнула дверь: Родион, посмотревший, вероятно, в глазок, вошел, довольно сердитый.

– Брысь, барышня! Мне же за это достанется.

Она визгливо захохотала, увильнула от его ракообразной руки и бросилась к открытой двери. Там, на пороге, остановилась вдруг с очаровательной танцевальной точностью, – и, не то посылая воздушный поцелуй, не то заключая союз молчания, взглянула через плечо на Цинцинната; после чего – с той же ритмической внезапностью – сорвалась и убежала большими высокими, упругими шагами, уже подготовлявшими полет.

Родион, бурча, бренча, тяжело за нею последовал.

– Постойте! – крикнул Цинциннат. – Я кончил все книги. Принесите мне опять каталог.

– Книги... – сердито усмехнулся Родион и с подчеркнутой звучностью запер за собой дверь.

Какая тоска. Цинциннат, какая тоска! Какая каменная тоска, Цинциннат, – и безжалостный бой часов, и жирный паук, и желтые стены, и шершавость черного шерстяного одеяла. Пенка на шоколаде. Взять в самом центре двумя пальцами и сдернуть целиком с поверхности – уже не плоский покров, а сморщенную коричневую юбочку. Он едва тепл под

ней, – сладковатый, стоячий. Три гренка в черепаховых подпалинах. Кружок масла с тисненым вензелем директора. Какая тоска, Цинциннат, сколько крошек в постели.

Погоревав, поохав, похрустев всеми суставами, он встал с койки, надел ненавистный халат, пошел бродить. Снова перебрал все надписи на стенах с надеждой открыть где-нибудь новую. Как вороненок на пне, долго стоял на стуле, неподвижно глядя вверх на нищенский паек неба. Опять ходил. Опять читал уже выученные наизусть восемь правил для заключенных:

1. Безусловно воспрещается покидать здание тюрьмы.
2. Кротость узника есть украшение темницы.
3. Убедительно просят соблюдать тишину между часом и тремя ежедневно.
4. Воспрещается приводить женщин.
5. Петь, плясать и шутить со стражниками дозволяется только по общему соглашению и в известные дни.
6. Желательно, чтобы заключенный не видел вовсе, а в противном случае тотчас сам пресекал ночные сны, могущие быть по содержанию своему несовместимыми с положением и званием узника, каковы: роскошные пейзажи, прогулки со знакомыми, семейные обеды, а также половое общение с особами, в виде реальном и состоянии бодрствования не подпускающими данного лица, которое посему будет рассматриваться законом как насильник.
7. Пользуясь гостеприимством темницы, узник, в свою очередь, не должен уклоняться от участия в уборке и других работах тюремного персонала постольку, поскольку таковое участие будет предложено ему.
8. Дирекция ни в коем случае не отвечает за пропажу вещей, равно как и самого заключенного.

Тоска, тоска, Цинциннат. Опять шагай, Цинциннат, задевая халатом то стены, то стул. Тоска! На столе наваленные книги прочитаны все. И хотя он знал, что прочитаны все, Цинциннат поискал, пошарил, заглянул в толстый том... перебрал, не садясь, уже виденные страницы.

Это был том журнала, выходившего некогда, – в едва вообразимом веке. Тюремная библиотека, считавшаяся по количеству и редкости книг второй в городе, содержала несколько таких диковин. То был далекий мир, где самые простые предметы сверкали молодостью и врожденной наглостью, обусловленной тем преклонением, которым окружался труд, шедший на их выделку. То были годы всеобщей плавности; маслом смазанный металл занимался бесшумной акробатикой; ладные линии пиджачных одежд диктовались неслыханной гибкостью мускулистых тел;

текущее стекло огромных окон округло загибалось на углах домов; ласточкой вольно летела дева в трико – так высоко над блестящим бассейном, что он казался не больше блюдца; в прыжке без шеста атлет навзничь лежал в воздухе, достигнув уже такой крайности напряжения, что если бы не флажные складки на трусах с лампасами, оно походило бы на ленивый покой; и без конца лилась, скользила вода; грация спадающей воды, ослепительные подробности ванных комнат, атласистая зыбь океана с двукрылой тенью на ней. Все было глянцеви́то, переливчато, все страстно тяготело к некоему совершенству, которое определялось одним отсутствием трения. Упиваясь всеми соблазнами круга, жизнь довертелась до такого головокружения, что земля ушла из-под ног, и, поскользнувшись, упав, ослабев от тошноты и томности... сказать ли?.. очутившись как бы в другом измерении. – Да, вещество постарело, устало, мало что уцелело от легендарных времен, – две-три машины, два-три фонтана, – и никому не было жаль прошлого, да и само понятие «прошлого» сделалось другим.

«А может быть, – подумал Цинциннат, – я неверно толкую эти картинки. Эпохе придаю свойства ее фотографии. Это богатство теней, и потоки света, и лоск загорелого плеча, и редкостное отражение, и плавные переходы из одной стихии в другую, – все это, быть может, относится только к снимку, к особой светописи, к особым формам этого искусства, и мир на самом деле вовсе не был столь изгибист, влажен и скор, – точно так же, как наши нехитрые аппараты по-своему запечатлевают наш сегодняшний наскоро сколоченный и покрашенный мир».

«А может быть, – (быстро начал писать Цинциннат на клетчатом листе), – я неверно толкую... Эпохе придаю... Это богатство... Потоки... Плавные переходы... И мир был вовсе... Точно так же, как наши... Но разве могут домыслы эти помочь моей тоске? Ах, моя тоска, – что мне делать с тобой, с собой? Как смеют держать от меня в тайне... Я, который должен пройти через сверхмучительное испытание, я, который для сохранения достоинства хотя бы наружного (далее безмолвной бледности все равно не пойду, – все равно не герой...) должен во время этого испытания владеть всеми своими способностями, я, я... медленно слабею... неизвестность ужасна, – ну скажите мне наконец... Так нет, замирай каждое утро... Между тем, знай я, сколько осталось времени, я бы кое-что... Небольшой труд... запись проверенных мыслей... Кто-нибудь когда-нибудь прочтет и станет весь как первое утро в незнакомой стране. То есть я хочу сказать, что я бы его заставил вдруг залиться слезами счастья, растаяли бы глаза, – и, когда он пройдет через это, мир будет чище, омыт, освежен. Но как мне приступить к писанию, когда не знаю, успею ли, а в

том-то и мучение, что говоришь себе: вот вчера успел бы, – и опять думаешь: вот и вчера бы... И вместо нужной, ясной и точной работы, вместо мерного приготовления души к минуте утреннего вставания, когда... ведро палача, когда подадут тебе, душа, умыться... так, вместо этого, невольно предаешься банальной, безумной мечте о бегстве, – увы, о бегстве... Когда она примчалась сегодня, топая и хохоча, – то есть я хочу сказать... Нет, надобно все-таки что-нибудь запечатлеть, оставить. Я не простой... я тот, который жив среди вас... Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, – не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, – но главное: дар сочетать все это в одной точке... Нет, тайна еще не раскрыта, – даже это – только огниво, – и я не заикнулся еще о зарождении огня, о нем самом. Моя жизнь. Когда-то в детстве, на далекой школьной поездке, отбившись от прочих, – а может быть, мне это приснилось, – я попал знойным полднем в сонный городок, до того сонный, что, когда человек, дремавший на завалинке под яркой беленой стеной, наконец встал, чтобы проводить меня до околицы, его синяя тень на стене не сразу за ним последовала... о, знаю, знаю, что тут с моей стороны был недосмотр, ошибка, что вовсе тень не замешкалась, а просто, скажем, зацепилась за шероховатость стены... – но вот что я хочу выразить: между его движением и движением отставшей тени, – эта секунда, эта синкопа, – вот редкий сорт времени, в котором живу, – пауза, перебой, – когда сердце как пух... И еще я бы написал о постоянном трепете... и о том, что всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то, – с чем, я еще не скажу... Но как мне писать об этом, когда боюсь не успеть и понапрасну разбередить... Когда она сегодня примчалась, – еще ребенок, – вот что хочу сказать, – еще ребенок, с какими-то лазейками для моей мысли, – я подумал словами древних стихов – напоила бы сторожей... спасла бы меня. Кабы вот таким ребенком осталась, а вместе повзрослела, поняла, – и вот удалось бы: горящие щеки, черная ветреная ночь, спасение, спасение... И напрасно я повторяю, что в мире нет мне приюта... Есть! Найду я! В пустыне цветущая балка! Немного снегу в тени горной скалы! А ведь это вредно – то, что делаю, – я и так слаб, а разжигаю себя, уничтожаю последние свои силы. Какая тоска, ах, какая... И мне ясно, что я еще не снял самой последней пленки со своего страха».

Он задумался. Потом бросил карандаш, встал, заходил. Донесся бой часов. Пользуясь их звоном как платформой, поднялись на поверхность шаги; платформа уплыла, шаги остались, и вот в камеру вошли: Родион с супом и господин библиотекарь с каталогом.

Это был здоровенного роста, но болезненного вида мужчина, бледный, с тенью у глаз, с плешью, окруженной темным венцом волос, с длинным станом в синей фуфайке, местами выцветшей и с кубовыми заплатами на локтях. Он держал руки в карманах узких, как смерть, штанов, сжав под мышкой большую переплетенную в черную кожу книгу. Цинциннат уже раз имел удовольствие видеть его.

– Каталог, – сказал библиотекарь, речь которого отличалась какой-то вызывающей лаконичностью.

– Хорошо, оставьте у меня, – сказал Цинциннат, – я выберу. Если хотите подождать, присесть, – пожалуйста. А если хотите уйти...

– Уйти, – сказал библиотекарь.

– Хорошо. Тогда я потом передам каталог Родиону. Вот, можете забрать... Эти журналы древних – прекрасны, трогательны... С этим тяжелым томом я, знаете, как с грузом, пошел на дно времен. Пленительное ощущение.

– Нет, – сказал библиотекарь.

– Принесите мне еще, я выпишу, какие годы. И роман какой-нибудь, поновее. Вы уже уходите? Вы взяли все?

Оставшись один, Цинциннат принялся за суп; одновременно перелистывал каталог. Его основная часть была тщательно и красиво отпечатана; среди печатного текста было множество заглавий мелко, но четко вписано от руки красными чернилами. Не специалисту разобраться в каталоге было трудно из-за расположения названий книг – не по алфавиту, а по числу страниц в каждой, причем тут же отмечалось, сколько (во избежание совпадений) вклеено в ту или другую книгу лишних листов. Цинциннат поэтому искал без определенной цели, а так, что приглянется. Каталог содержался в образцовой чистоте; тем более удивительно было, что на белом обороте одной из первых страниц детская рука сделала карандашом серию рисунков, смысл коих Цинциннат не сразу разгадал.

– Позвольте вас от души поздравить, – маслянистым басом сказал директор, входя на другое утро в камеру к Цинциннату.

Родриг Иванович казался еще наряднее, чем обычно: спина парадного сюртука была, как у кучеров, упитана ватой, широкая, плоско-жирная, парик лоснился, как новый, сдобное тесто подбородка было напудрено, точно кала, а в петлице розовел восковой цветок с крапчатой пастью. Из-за статной его фигуры, – он торжественно остановился на пороге, – выглядывали с любопытством, тоже праздничные, тоже припомаженные, служащие тюрьмы. Родион надел даже какой-то орден.

– Я готов. Я сейчас оденусь. Я знал, что сегодня.

– Поздравляю, – повторил директор, не обращая внимания на суетливые движения Цинцинната. – Честь имею доложить, что у вас есть отныне сосед, – да, да, только что въехал. Заждались небось? Ничего, – теперь, с наперсником, с товарищем по играм и занятиям, вам не будет так скучно. Кроме того, – но это, конечно, должно остаться строго между нами, могу сообщить, что пришло вам разрешение на свидание с супругой: *demain matin*^[4].

Цинциннат опять опустился на койку и сказал:

– Да, это хорошо. Благодарю вас, кукла, кучер, крашенная сволочь... Простите, я немножко...

Тут стены камеры начали выгибаться и вдавливаться, как отражения в поколебленной воде; директор зазыблился, койка превратилась в лодку. Цинциннат схватился за край, чтобы не свалиться, но уключина осталась у него в руке, – и, по горло среди тысячи крапчатых цветов, он поплыл, запутался и начал тонуть. Шестами, баграми, засучив рукава, принялись в него тыкать, поддевать его и вытаскивать на берег. Вытащили.

– Мы нервозны, как маленькая женщина, – сказал с улыбкой тюремный врач, он же Родриг Иванович. – Дышите свободно. Есть можете все. Ночные поты бывают? Продолжайте в том же духе, и если будете очень послушны, то, может быть, может быть, мы вам позволим одним глазком на новичка... но чур, только одним глазком...

– Как долго... это свидание... сколько мне дадут... – с трудом выговорил Цинциннат.

– Сейчас, сейчас. Не торопитесь так, не волнуйтесь. Раз обещано показать, то покажем. Наденьте туфли, пригладьте волосы. Я думаю,

что... – Директор вопросительно взглянул на Родиона, тот кивнул. – Только, пожалуйста, соблюдайте абсолютную тишину, – обратился он опять к Цинциннату, – и ничего не хватайте руками. Ну, вставайте, вставайте. Вы не заслужили этого, вы, батюшка мой, ведете себя дурно, но все же разрешается вам... Теперь – ни слова, тихонько...

На цыпочках, балансируя руками, Родриг Иванович вышел, и с ним Цинциннат в своих больших шепелявых туфлях. В глубине коридора, у двери с внушительными скрепами, уже стоял, согнувшись, Родион и, отодвинув заслонку, смотрел в глазок. Не отрываясь, он сделал рукой жест, требующий еще большей тишины, и незаметно изменил его на другой – приглашающий. Директор еще выше поднялся на цыпочках, обернулся, грозно гримасничая, но Цинциннат не мог не пошаркивать немножко. Там и сям, в полутьме переходов, собирались, горбились, прикладывали козырьком ладонь, словно стараясь что-то вдали разглядеть, смутные фигуры тюремных служащих. Лаборант Родион пустил Родрига Ивановича к наставленному окуляру. Плотнo скрипнув спиной, Родриг Иванович впился... Между тем, в серых потемках, смутные фигуры беззвучно перебегали, беззвучно подзывали друг друга, строились в шеренги, и уже как поршни ходили на месте их мягкие многие ноги, готовясь выступить. Директор наконец медленно отодвинулся и легонько потянул Цинцинната за рукав, приглашая его, как профессор – захожего профана, посмотреть на препарат. Цинциннат кротко припал к светлoму кружку. Сперва он увидел только пузыри солнца, полоски, – а затем: койку, такую же, как у него в камере, около нее сложены были два добротных чемодана с горящими кнопками и большой продолговатый футляр, вроде как для тромбона...

– Ну что, видите что-нибудь? – прошептал директор, близко наклоняясь и благоухая, как лилии в открытом гробу.

Цинциннат кивнул, хотя еще не видел главного; передвинул взгляд левее и тогда увидел по-настоящему.

На стуле, боком к столу, неподвижно, как сахарный, сидел безбородый толстячок, лет тридцати, в старомодной, но чистой, свежевыглаженной арестантской пижамке, – весь полосатый, в полосатых носках, в новеньких сафьяновых туфлях, – являл девственную подошву, перекинув одну короткую ногу через другую и держась за голень пухлыми руками; на мизинце вспыхивал прозрачный аквамарин, светло-русые волосы на удивительно круглой голове были разделены пробором посредине, длинные ресницы бросали тень на херувимскую щеку, между малиновых губ сквозила белизна чудных, ровных зубов. Весь он был как бы подернут слегка блеском, слегка таял в снопе солнечных лучей,

люющих на него сверху. На столе ничего не было, кроме щегольских дорожных часов в кожаной раме.

– Будет, – шепнул с улыбкой директор, – я тозе хоцу, – и он прильнул опять.

Родион знаками показал Цинциннату, что пора восвояси. Смутные фигуры служащих почтительно приближались гуськом: позади директора уже составилась целый хвост желающих взглянуть; некоторые привели своих старших сыновей.

– Балуете вы нас, – проворчал Родион напоследок – и долго не мог отпереть дверь Цинциннатовой камеры, – даже наградил ее круглым русским словом, и это подействовало.

Все стихло. Все было как всегда.

– Нет, не все, – завтра ты придешь, – вслух произнес Цинциннат, еще дрожа после давешней дурноты.

«Что я тебе скажу? – продолжал он думать, бормотать, содрогаться. – Что ты мне скажешь? Наперекор всему я любил тебя, и буду любить – на коленях, со сведенными назад плечами, пятки показывая кату и напрягая гусиную шею, – все равно, даже тогда. И после, – может быть, больше всего именно после, – буду тебя любить, – и когда-нибудь состоится между нами истинное, исчерпывающее объяснение, – и тогда уж как-нибудь мы сложимся с тобой, приставим себя друг к дружке, решим головоломку: провести из такой-то точки в такую-то... чтобы ни разу... или – не отнимая карандаша... или еще как-нибудь... соединим, проведем, и получится из меня и тебя тот единственный наш узор, по которому я тоскую. Если они будут каждое утро так делать, то вышколят, буду совсем деревянный...»

Цинциннат раззевался, – слезы текли по щекам, и опять, и опять вырастал во рту холм. Нервы, – спать не хотелось. Надо было чем-нибудь себя занять до завтра, – книг свежих еще не было, каталога он не отдал... Да, рисуночки! Но теперь, при свете завтрашней встречи...

Детская рука, несомненно Эммочки, нарисовала ряд картиночек, составлявших (как вчера Цинциннату казалось) связный рассказ, обещание, образчик мечты. Сначала: горизонтальная черта, то есть сей каменный пол, на нем – элементарный стул вроде насекомого, а вверху – решетка в шесть клеток. То же самое, но с участием полной луны, кисло опустившей уголки рта за решеткой. Далее: на табурете из трех черточек тюремщик без глаз, значит – спящий, а на полу – кольцо с шестью ключами. То же кольцо с ключами, но покрупнее, и к нему тянется рука, весьма пятипалая, в коротком рукавчике. Начинается интересное: дверь полуоткрыта, из-за нее – как бы птичья лапа: все, что видно от утекающего узника. Он сам, с

запятыми на голове вместо кудрей, в темном халатике, посилено изображенном в виде равнобедренного треугольника; его ведет девочка: вилкообразные ножки, волнистая юбочка, параллельные линии волос. То же самое, но в виде плана, а именно: квадрат камеры, кривая коридора, с пунктиром маршрута и гармоникой лестницы в конце. Наконец эпилог: темная башня, и над ней довольная луна – уголки рта кверху.

Нет, – самообман, вздор. Дитя намарало, без мысли... Выпишем заглавия и отложим каталог. Да, дитя... Высунув справа язык, крепко держа изрисованный карандашиком, напирая на него побелевшим от усилия пальцем... А затем – после удачно замкнувшейся линии – откидываясь, поводя так и сяк головой, вертя лопатками, и опять, припав к бумаге и переводя язык налево... так старательно... Вздор, не будем больше об этом...

Ища, чем себя занять и как оживить вялое время, Цинциннат решил освежить свою внешность ради завтрашней Марфиньки. Родион согласился притащить опять такую же лохань, в какой Цинциннат полоскался накануне суда. В ожидании воды Цинциннат сел за стол, стол сегодня немножко колыхался.

«Свидание, свидание, – писал Цинциннат, – означает, по всей вероятности, что мое ужасное утро уже близко. Послезавтра, вот в это время, моя камера будет пуста. Но я счастлив, что тебя увижу. Мы поднимались к мастерским по двум разным лестницам, мужчины по одной, женщины по другой, – но сходились на предпоследней площадке. Я уже не могу собрать Марфиньку в том виде, в каком встретил ее в первый раз, но, помнится, сразу заметил, что она приоткрывает рот за секунду до смеха, – и круглые карие глаза, и коралловые сережки, – ах, как хотелось бы сейчас воспроизвести ее такой, совсем новенькой и еще твердой, – а потом постепенное смягчение, – и складочка между щекой и шеей, когда она поворачивала голову ко мне, уже потеплевшая, почти живая. Ее мир. Ее мир состоит из простых частиц, просто соединенных; простейший рецепт поваренной книги сложнее, пожалуй, этого мира, который она, напевая, печет, – каждый день для себя, для меня, для всех. Но откуда, – еще тогда, в первые дни, – откуда злость и упрямство, которые вдруг... Мягкая, смешная, теплая, и вдруг... Сначала мне казалось, что это она нарочно: показывает, что ли, как другая на ее месте остервенела бы, заупрямилась. Как же я был удивлен, когда оказалось, что это она сама и есть! Из-за какой ерунды, – глупая моя, какая голова маленькая, если прощупать сквозь все русое, густое, которому она умеет придать невинную гладкость, с девическим переливом на темени. „Жонка у вас – тишь да гладь, а

кусачая“, – сказал мне ее первый, незабвенный любовник, причем подлость в том, что эпитет – не в переносном... она действительно в известную минуту... одно из тех воспоминаний, которые надо сразу гнать от себя, иначе одолеет, заламает. „Марфинька сегодня опять...“ – а однажды я видел, я видел, я видел – с балкона, – я видел, – и с тех пор никогда не входил ни в одну комнату без того, чтобы не объявить издали о своем приближении – кашлем, бессмысленным восклицанием. Как страшно было уловить тот изгиб, ту захлебывающуюся торопливость, – все то, что было моим в тенистых тайниках Тамариных Садов, – а потом мною же утрачено. Сосчитать, сколько было у нее... Вечная пытка: говорить за обедом с тем или другим ее любовником, казаться веселым, щелкать орехи, приговаривать, – смертельно бояться нагнуться, чтобы случайно под столом не увидеть нижней части чудовища, верхняя часть которого, вполне благообразная, представляет собою молодую женщину и молодого мужчину, видных по пояс за столом, спокойно питающихся и болтающих, – а нижняя часть – это четырехное нечто, свивающееся, бешеное... Я опустился в ад за оброненной салфеткой. Марфинька потом о себе говаривала (в этом же самом множественном числе): „Нам очень стыдно, что нас видели“, – и надувала губы. И все-таки: я тебя люблю. Я тебя безысходно, гибельно, непоправимо... Покуда в тех садах будут дубы, я буду тебя... Когда тебе наглядно доказали, что меня не хотят, от меня сторонятся, – ты удивилась, как это ты ничего не заметила сама, – а ведь от тебя было так легко скрывать! Я помню, как ты умоляла меня исправиться, совершенно не понимая, в сущности, что именно следовало мне в себе исправить и как это, собственно, делается, и до сих пор ты ничего не понимаешь, не задумываясь над тем, понимаешь ли или нет, а когда удивляешься, то удивляешься почти уютно. Но когда судебный пристав стал обходить со шляпой публику, ты все-таки свою бумажку бросила в нее».

Над качающейся у пристани лоханью поднимался ничем не виноватый, веселый, заманчивый пар. Цинциннат порывисто – в два быстрых приема – вздохнул и отложил исписанные страницы. Из скромного своего сундучка он извлек чистое полотенце. Цинциннат был такой маленький и узкий, что ему удалось целиком поместиться в лохани. Он сидел, как в душегубке, и тихо плыл. Красноватый вечерний луч, мешаясь с паром, возбуждал в небольшом мире каменной камеры разноцветный трепет. Доплыв, Цинциннат встал и вышел на сушу. Обтираясь, он боролся с головокружением, с сердечной истомой. Был он очень худ, – и сейчас, при закатном свете, подчеркивавшим тени ребер,

самое строение его грудной клетки казалось успехом мимикрии, ибо оно выражало решетчатую сущность его среды, его темницы. Бедненький мой Цинциннат. Обтираясь, стараясь развлечь себя самим собой, он разглядывал все свои жилки и невольно думал о том, что скоро его раскупорят и все это выльется. Кости у него были легкие, тонкие: выжидательно, с младенческим вниманием, снизу вверх взирали на него кроткие ногти на ногах (вы-то милые, вы-то невинные), – и когда он так сидел на койке – голый, всю тощую спину от куприка до шейных позвонков показывая наблюдателям за дверью (там слышался шепот, обсуждалось что-то, шуршали, – но ничего, пусть), Цинциннат мог сойти за болезненного отрока, – даже его затылок, с длинной выемкой и хвостиком мокрых волос, был мальчишеский – и на редкость сподручный. Из того же сундучка Цинциннат достал зеркальце и баночку с душистой вытравкой, ему всегда напоминавшей ту необыкновенно густошерстную мышку, которая была у Марфиньки на боку. Втер в колючие щеки, тщательно обходя усы.

Теперь хорошо, чисто. Вдохнул и надел прохладную, еще пахнущую домашней стиркой ночную рубашку.

Стемнело. Он лежал и все продолжал плыть. Родион в обычный час зажег свет и убрал ведро, лохань. Паук спустился к нему на ниточке и сел на палец, который Родион протягивал мохнатуму зверьку, беседуя с ним, как с кенарем. Между тем дверь в коридор оставалась чуть приоткрытой, – и там мелькнуло что-то... на миг свесились витые концы бледных локонов и исчезли, когда Родион двинулся, глядя вверх на уходившего под купол цирка крохотного акробата. Дверь все оставалась на четверть приотворенной. Тяжелый, в кожаном фартуке, с курчаво-красной бородой, Родион медленно двигался по камере и, когда захрипели перед боем часы (приблизившиеся теперь благодаря сквозному сообщению), вынул откуда-то из-за пояса луковицу и сверил. Затем, полагая, что Цинциннат спит, довольно долго смотрел на него, опираясь на метлу, как на алебарду. Неизвестно до чего додумавшись, он зашевелился опять... Тем временем в дверь беззвучно и не очень скоро вбежал красно-синий резиновый мяч, прокатился по катету прямо под койку, на миг скрылся, там звякнулся и выкатился по другому катету, то есть по направлению к Родиону, который, так его и не заметив, случайно его пнул, переступив, – и тогда, по гипотенузе, мяч ушел в ту же дверную промежку, откуда явился. Родион, взяв метлу на плечо, покинул камеру. Свет погас.

Цинциннат не спал, не спал, не спал, – нет, спал, но со стоном опять выкарабкался, – и вот опять не спал, спал, не спал, – и все мешалось, Марфинька, плаха, бархат, – и как это будет, – что? Казнь или свидание?

Все слилось окончательно, но он еще на один миг разжмурился, оттого что зажегся свет, и Родион на носках вошел, забрал со стола черный каталог, вышел, погасло.

VI

Что это было – сквозь все страшное, ночное, неповоротливое, – что это было такое? Последним отодвинулось оно, нехотя уступая грузным, огромным возам сна, и вот сейчас первым выбежало, – такое приятное, приятное, – растущее, ясное, обливающее горячим сердцем: Марфинька нынче придет!

Тут на подносе, как в театре, Родион принес лиловую записку. Цинциннат, присев на постель, прочел следующее: «Миллион извинений! Непростительная оплошность! Сверившись со статьей закона, обнаружилось, что свидание дается лишь по истечении недели после суда. Итак, отложим на завтра. Будьте здоровеньки, кланяйтесь, у нас все то же, хлопот полон рот, краска, присланная для будок, оказалась опять никуда не годной, о чем я уже писал, но безрезультатно».

Родион, стараясь не глядеть на Цинцинната, собирал со стола вчерашнюю посуду. Погода, верно, стояла пасмурная: сверху проникающий свет был серый, и темная кожаная одежда сердобольного Родиона казалась сырой, жухлой.

– Ну что ж, – сказал Цинциннат, – пожалуйста, пожалуйста... Я все равно бессилен. – (Другой Цинциннат, поменьше, плакал, свернувшись калачиком.) – Завтра так завтра. Но я попрошу вас позвать...

– Сию минуту, – выпалил Родион с такой готовностью, словно только и жаждал этого, – метнулся было вон, – но директор, слишком нетерпеливо ждавший за дверью, явился чуть-чуть слишком рано, так что они столкнулись.

Родриг Иванович держал стенной календарь – и не знал, куда его положить.

– Миллион извинений, – крикнул он, – непростительная оплошность! Сверившись со статьей закона... – Дословно повторив свою записку, Родриг Иванович сел в ноги у Цинцинната и поспешно добавил: – Во всяком случае, можете подать жалобу, но считаю долгом вас предупредить, что ближайший съезд состоится осенью, а к тому времени много чего утечет. Ясно?

– Я жаловаться не собираюсь, – сказал Цинциннат, – но хочу вас спросить: существует ли в мнимой природе мнимых вещей, из которых сбит этот мнимый мир, хоть одна такая вещь, которая могла бы служить ручательством, что вы обещание свое исполните?

– Обещание? – удивленно спросил директор, перестав обмахивать себя картонной частью календаря (крепость на закате, акварель). – Какое обещание?

– Насчет завтрашнего прихода моей жены. Пускай в данном случае вы не согласитесь мне дать гарантию, – но я ставлю вопрос шире: существует ли вообще, может ли существовать в этом мире хоть какое-нибудь обеспечение, хоть в чем-нибудь порука, – или даже самая идея гарантии неизвестна тут?

Пауза.

– А бедный-то наш Роман Виссарионович, – сказал директор, – слышали? Слег, простудился, и, кажется, довольно серьезно...

– Я чувствую, что вы ни за что не ответите мне; это логично, – ибо и безответственность вырабатывает в конце концов свою логику. Я тридцать лет прожил среди плотных на ощупь привидений, скрывая, что жив и действителен, – но теперь, когда я попался, мне с вами стесняться нечего. По крайней мере, проверю на опыте всю несостоятельность данного мира.

Директор кашлянул – и продолжал как ни в чем не бывало:

– Настолько серьезно, что я как врач не уверен, сможет ли он присутствовать, – то есть выздоровеет ли он к тому времени, – bref^[5], удастся ли ему быть на вашем бенефисе...

– Уйдите, – через силу произнес Цинциннат.

– Не падайте духом, – продолжал директор. – Завтра, завтра осуществится то, о чем вы мечтаете... А миленький календарь, правда? Художественная работа. Нет, это я не вам принес.

Цинциннат прикрыл глаза. Когда он взглянул опять, директор стоял к нему спиной посредине камеры. На стуле все еще валялись кожаный фартук и рыжая борода, оставленные, по-видимому, Родионом.

– Нонче придется особенно хорошо убрать вашу обитель, – сказал он, не оборачиваясь, – привести все в порядок по случаю завтрашней встречи... Покамест будем тут мыть пол, я вас попрошу... вас попрошу...

Цинциннат зажмурился снова, и уменьшившийся голос продолжал:

– ...вас попрошу выйти в коридор. Это продлится недолго. Приложим все усилия, дабы завтра должным образом, чисто, нарядно, торжественно...

– Уйдите, – воскликнул Цинциннат, привстав и весь трясаясь.

– Никак не можем, – степенно произнес Родион, возясь с ремнями фартука. – Придется тут того, – поработать. Вишь пыли-то... Сами спасибочко скажете.

Он посмотрелся в карманное зеркальце, взбил на щеках бороду и, наконец подойдя к койке, подал Цинциннату одеться. В туфли было

предусмотрительно напихано немного скомканной бумаги, а полы халата были аккуратно подогнуты и зашпилены. Цинциннат, покачиваясь, оделся и, слегка опираясь на руку Родиона, вышел в коридор. Там он сел на табурет, заложив руки в рукава, как больной. Родион, оставив дверь палаты широко открытой, принялся за уборку. Стул был поставлен на стол; с койки сорвана была простыня; звякнула ведерная дужка; сквозняк перебрал бумаги на столе, и один лист спланировал на пол.

– Что же вы это раскисли? – крикнул Родион, возвышая голос над шумом воды, шлепаньем, стуком. – Пошли бы прогуляться маленько, по коридорам-то... Да не бойтесь, – я тут как тут в случае чего, только кликните.

Цинциннат послушно встал с табурета, – но едва он двинулся вдоль холодной стены, несомненно сродной скале, на которой выросла крепость; едва он отошел несколько шагов, – и каких шагов! слабых, невесомых, смиренных; едва он обратил местоположение Родиона, отворенной двери, ведер в уходящую вспять перспективу, – как Цинциннат почувствовал струю свободы. Она плеснула шире, когда он завернул за угол. Голые стены, кроме потных разводов и трещин, не были оживлены ничем; только в одном месте кто-то расписался охрой, малярным махом: «Проба кисти, проба кис» – и уродливый оплыв. От непривычки ходить одному у Цинцинната размякли мышцы, в бок закололо.

Вот тогда-то Цинциннат остановился и, озираясь, как будто только что попал в эту каменную глушь, собрал всю свою волю, представил себе во весь рост свою жизнь и попытался с предельной точностью уяснить свое положение. Обвиненный в страшнейшем из преступлений, в гносеологической гнусности, столь редкой и неудобосказуемой, что приходится пользоваться обиняками вроде: непроницаемость, непрозрачность, препона; приговоренный за оное преступление к смертной казни; заключенный в крепость в ожидании неизвестного, но близкого, но неминуемого срока этой казни (которая ясно предощущалась им как выверт, рывок и хруст чудовищного зуба, причем все его тело было воспаленной десной, а голова этим зубом); стоящий теперь в коридоре темницы с замирающим сердцем, – еще живой, еще непочатый, еще цинциннатный, – Цинциннат Ц. почувствовал дикий позыв к свободе, к самой простой, вещественной, вещественно-осуществимой свободе, и мгновенно вообразил – с такой чувственной отчетливостью, точно это все было текучее, венцеобразное излучение его существа, – город за обмелевшей рекой, город, из каждой точки которого была видна, – то так, то этак, то яснее, то синее, – высокая крепость, внутри которой он сейчас находился. И

настолько сильна и сладка была эта волна свободы, что все показалось лучше, чем на самом деле: его тюремщики, каковыми, в сущности, были все, показались сговорчивей... в тесных видениях жизни разум выглядывал возможную стежку... играла перед глазами какая-то мечта... словно тысяча радужных иголок вокруг ослепительного солнечного блика на никелированном шаре... Стоя в тюремном коридоре и слушая полновесный звон часов, которые как раз начали свой неторопливый счет, он представил себе жизнь города такой, какой она обычно бывала в этот свежий утренний час: Марфинька, опустив глаза, идет с корзинкою из дому по голубой панели, за ней в трех шагах черноусый хват; плывут, плывут по бульвару сделанные в виде лебедей или лодок электрические вагонетки, в которых сидишь как в карусельной люльке; из мебельных складов выносят для проветривания диваны, кресла, и мимоходом на них присаживаются отдохнуть школьники, и маленький дежурный с тачкой, полной общих тетрадок и книг, утирает лоб, как взрослый артельщик; по освеженной, влажной мостовой стрекочут заводные, двухместные «часики», как зовут их тут в провинции (а ведь это выродившиеся потомки машин прошлого, тех великолепных лаковых раковин... почему я вспомнил? да – снимки в журнале); Марфинька выбирает фрукты; дряхлые, страшные лошади, давным-давно переставшие удивляться достопримечательностям ада, развозят с фабрик товар по городским выдачам; уличные продавцы хлеба, с золотистыми лицами, в белых рубахах, орут, жонглируя булками: подбрасывая их высоко, ловя и снова крутя их; у окна, обросшего глициниями, четверо веселых телеграфистов пьют, чокаются и поднимают бокалы за здоровье прохожих; знаменитый каламбурист, жадный хохлатый старик в красных шелковых панталонах, пожирает, обжигаясь, поджаренные хухрики в павильоне на Малых Прудах; вот облака прорвались, и под музыку духового оркестра пятнистое солнце бежит по пологим улицам, заглядывает в переулки; быстро идут прохожие; пахнет липой, карбурином, мокрой пылью; вечный фонтан у мавзолея капитана Сонного широко орошает, ниспадая, каменного капитана, барельеф у его слоновых ног и колышемые розы; Марфинька, опустив глаза, идет домой с полной корзиной, за ней в трех шагах белокурый франт... Так Цинциннат смотрел и слушал сквозь стены, пока били часы, и хотя все в этом городе на самом деле было всегда совершенно мертво и ужасно по сравнению с тайной жизнью Цинцинната и его преступным пламенем, хотя он знал это твердо и знал, что надежды нет, а все-таки в эту минуту захотелось попасть на знакомые, пестрые улицы... но вот часы дозвенели, мыслимое небо заволокло, и темница опять вошла в силу.

Цинциннат затаил дыхание, двинулся, остановился опять, прислушался: где-то впереди, в неведомом отдалении, раздался стук.

Это был мерный, мелкий, токающий стук, и Цинциннат, у которого сразу затрепетали все листики, почуял в нем приглашение. Он пошел дальше, очень внимательный, мерцающий, легкий; в который раз завернул за угол. Стук прекратился, но потом словно перелетел поближе, как невидимый дятел. Ток, ток, ток. Цинциннат ускорил шаг, и опять темный коридор загнулся. Вдруг стало светлее, – хотя не по-дневному, – и вот стук сделался определенным, довольным собой. Впереди бледно освещенная Эммочка бросала об стену мяч.

Проход в этом месте был широк, и сначала Цинциннату показалось, что в левой стене находится большое глубокое окно, откуда и льется тот странный добавочный свет. Эммочка, нагнувшись, чтобы поднять мяч, а заодно подтянуть носок, хитро и застенчиво оглянулась. На ее голых руках и вдоль голеней дыбом стояли светлые волоски. Глаза блестели сквозь белесые ресницы. Вот она выпрямилась, откидывая с лица льняные локоны той же рукой, которой держала мяч.

– Тут нельзя ходить, – сказала она, у нее было что-то во рту – щелкнуло за щекой, ударилось о зубы.

– Что это ты сосеешь? – спросил Цинциннат.

Эммочка высунула язык; на его самостоятельно живом кончике лежал ярчайший барбарисовый леденец.

– У меня еще есть, – сказала она, – хотите?

Цинциннат покачал головой.

– Тут нельзя ходить, – повторила Эммочка.

– Почему? – спросил Цинциннат.

Она пожала плечом и, ломаясь, выгибая руку с мячом и напрягая икры, подошла к тому месту, где ему показалось – углубление, окно, – и там, ерзая, вдруг становясь голенастее, устроилась на каменном выступе вроде подоконника.

Нет, это было лишь подобие окна; скорее – витрина, а за ней – да, конечно, как не узнать! – вид на Тамарины Сады. Намалеванный в нескольких планах, выдержанный в мутно-зеленых тонах и освещенный скрытыми лампочками, ландшафт этот напоминал не столько террариум или театральную макету, сколько тот задник, на фоне которого тужится духовой оркестр. Все передано было довольно точно в смысле группировок и перспектив, – и кабы не вялость красок, да неподвижность древесных верхушек, да непроторность освещения, можно было бы, прищурившись, представить себе, что глядишь через башенное окно, вот из этой темницы,

на те сады. Снисходительный глаз узнавал эти дороги, эту курчавую зелень рощ, и справа портик, и отдельные тополя, и даже бледный мазок посреди неубедительной синевы озера, – вероятно, лебедь. А в глубине, в условном тумане, круглились холмы, и над ними, на том темно-сизом небе, под которым живут и умирают лицедеи, стояли неподвижные кучевые облака. И все это было как-то несвежо, ветхо, покрыто пылью, и стекло, через которое смотрел Цинциннат, было в пятнах, – по иным из них можно было восстановить детскую пятерню.

– А все-таки выведи меня туда, – прошептал Цинциннат, – я тебя умоляю.

Он сидел рядом с Эммочкой на каменном выступе, и оба всматривались в искусственную даль за витриной, она загадочно водила пальцем по вьющимся тропам, и от ее волос пахло ванилью.

– Тятка идет, – вдруг хрипло и скоро проговорила она, оглянувшись; соскочила на пол и скрылась.

Действительно, со стороны, противоположной той, с которой пришел Цинциннат (сперва даже подумалось – зеркало), близился Родион, позванивая ключами.

– Пожалте домой, – сказал он шутливо.

Свет потух в витрине, и Цинциннат сделал шаг, намереваясь вернуться тем же путем, которым сюда добрался.

– Куды, куды, – крикнул Родион, – подите прямо, так ближе.

И только тогда Цинциннат сообразил, что коленья коридора никуда не уводили его, а составляли широкий многоугольник, – ибо теперь, завернув за угол, он увидел в глубине свою дверь, а не доходя до нее, прошел мимо камеры, где содержался новый арестант. Дверь этой камеры была настежь, и там, в своей полосатой пижамке, стоял на стуле уже виденный симпатичный коротыш и прибивал к стене календарь: ток, ток – как дятел.

– Не заглядывайтесь, девица красная, – добродушно сказал Родион. – Домой, домой. Убрано-то как у вас, а? Таперича и гостей принять не стыдно.

Особенно, казалось, был он горд тем, что паук сидел на чистой, безукоризненно правильной, очевидно только что созданной паутине.

VII

Очаровательное утро! Свободно, без прежнего трения, оно проникало сквозь зарешеточное стекло, промытое вчера Родионом. Новосельем так и несло от желтых, липких стен. Стол покрывала свежая скатерть, еще с воздухом, необлегающая. Щедро окаченный каменный пол дышал фонтанной прохладой.

Цинциннат надел лучшее, что у него с собой было, – и пока он натягивал белые шелковые чулки, которые на гала-представлениях имел право носить как педагог, – Родион внес мокрую хрустальную вазу со щекастыми пионами из директорского садика и поставил ее на стол, посередке, – нет, не совсем посередке; вышел, пятясь, а через минуту вернулся с табуретом и добавочным стулом, и мебель разместил не как-нибудь, – а с расчетом и вкусом. Входил он несколько раз, и Цинциннат не смел спросить: «Скоро ли?» – и, как бывает в тот особенно бездеятельный час, когда, празднично выглаженный, ждешь гостей и ничем как-то нельзя заняться, – слонялся, то присаживаясь в непривычных углах, то поправляя в вазе цветы, – так что наконец Родион сжалился и сказал, что теперь уже скоро.

Ровно в десять вдруг явился Родриг Иванович, в лучшем, монументальнейшем своем сюртуке, пышный, неприступный, сдержанно возбужденный; поставил массивную пепельницу и все осмотрел (за исключением одного только Цинцинната, поступая как поглощенный своим делом мажордом, внимание направляющий лишь на убранство мертвого инвентаря, живому же предоставляя самому украсить). Вернулся он, неся зеленый флакон, снабженный резиновой грушей, и с мощным шумом стал выдувать сосковое благовоние, довольно бесцеремонно оттолкнув Цинцинната, когда тот попался ему под ноги. Стулья Родриг Иванович поставил иначе, чем Родион, и долго смотрел выпученными глазами на спинки: они были разнородны – одна лирой, другая покоем. Наконец, надув щеки и выпустив со свистом воздух, повернулся к Цинциннату.

– А вы-то готовы? – спросил он. – Все у вас нашлось? Пряжки целы? Почему у вас тут как-то смято? Эх вы... Покажите ладошки. Воп^[6]. Теперь постарайтесь не замараться. Я думаю, что уже не долго.

Он вышел, и с перекатами зазвучал в коридоре его сочный распорядительский бас. Родион отворил дверь камеры, закрепил ее в таком положении и на пороге развернул поперечно-полосатый половичок.

– Идут-с, – шепнул он с подмигом и снова скрылся.

Вот где-то трижды трахнул ключ в замке, раздались смешанные голоса, прошло дуновение, от которого зашевелились волосы у Цинцинната...

Он очень волновался, и дрожь на губах все принимала образ улыбки.

– Сюда, вот мы уже и пришли, – донеслось басистое приговаривание директора, и в следующее мгновение он появился, галантно, под локоток, вводя толстенького полосатенького арестантика, который, прежде чем войти, остановился на половичке, беззвучно составил вместе сафьяновые ступни и ловко поклонился.

– Позвольте вам представить м-сье Пьера, – обратился, ликуя, директор к Цинциннату. – Пожалуйста, пожалуйста, м-сье Пьер, вы не можете вообразить, как вас тут ждали... Знакомьтесь, господа... Долгожданная встреча... Поучительное зрелище... Не побрезгайте, м-сье Пьер, не взыщите...

Он сам не знал, что говорит, – захлебывался, тяжело пританцовывал, потирал руки, лопался от сладостного смущения.

М-сье Пьер, очень спокойный и собранный, подошел, поклонился снова, – и Цинциннат машинально обменялся с ним рукопожатием, причем тот на какие-то полсекунды дольше, чем это бывает обычно, задержал в своей мягкой маленькой лапе ускользавшие пальцы Цинцинната, как затягивает пожатие пожилой ласковый доктор, – так мягко, так аппетитно, – и вот отпустил.

Певучим, тонким горловым голосом м-сье Пьер сказал:

– Я тоже чрезвычайно рад с вами наконец познакомиться. Смею надеяться, что мы сойдемся короче.

– Именно, именно, – захохотал директор, – ах, садитесь... Будьте как дома... Коллега так счастлив вас видеть у себя, что не находит слов.

М-сье Пьер сел, и тут оказалось, что его ножки не совсем хватают до полу: это, впрочем, нисколько не отнимало у него ни солидности, ни той особой грациозности, которою природа одаривает некоторых отборных толстячков. Своими светлыми, глазированными глазами он вежливо глядел на Цинцинната, а Родриг Иванович, присев тоже к столу, посмеивающийся, науськивающий, опьяневший от удовольствия, переводил взгляд с одного на другого, жадно следя после каждого слова гостя за впечатлением, производимым им на Цинцинната.

М-сье Пьер сказал:

– Вы необыкновенно похожи на вашу матушку. Мне лично никогда не довелось видеть ее, но Родриг Иванович любезно обещал показать мне ее

карточку.

– Слушаю-с, – сказал директор, – достанем.

М-сье Пьер продолжал:

– Я и вообще, помимо этого, увлекаюсь фотографией смолоду, мне теперь тридцать лет, а вам?

– Ему ровно тридцать, – сказал директор.

– Ну вот видите, я, значит, правильно угадал. Раз вы тоже этим интересуетесь, я вам сейчас покажу...

С привычной приткостью он вынул из грудного карманчика пижамной куртки разбухший бумажник, а из него – толстую стопочку любительских снимков самого мелкого размера. Перебирая их, как крохотные карты, он принялся их класть по одной штучке на стол, а Родриг Иванович хватал, вскрикивал от восхищения, долго рассматривал, – и медленно, продолжая любоваться снимком или уже потягиваясь к следующему, передавал дальше, – хотя дальше все было недвижно и безмолвно. На всех этих снимках был м-сье Пьер, м-сье Пьер в разнообразнейших положениях, – то в саду, с премированным томатиком в руках, то подсевший одной ягодицей на какие-то перила (профиль, трубка во рту), то за чтением в качалке, а рядом стакан с соломинкой...

– Превосходно, замечательно, – приговаривал Родриг Иванович, ёжась, качая головой, впиваясь в каждый снимок или даже держа сразу два и перебегая взглядом с одного на другой. – У-ух, какие у вас тут бицепсы! Кто бы мог подумать – при вашей-то изящной комплекции. Сногсшибательно! Ах ты прелесть какая, – с птичкой разговариваете!

– Ручная, – сказал м-сье Пьер.

– Презабавно! Ишь как... А это что же такое – никак арбуз кушаете!

– Так точно, – сказал м-сье Пьер. – Те вы уже просмотрели. Вот – пожалуйста.

– Очаровательно, доложу я вам. Давайте-ка эту порцию сюда, он еще ее не видал...

– Жонглирую тремя яблоками, – сказал м-сье Пьер.

– Здорово! – директор даже прищелкнул.

– За утренним чаем, – сказал м-сье Пьер: – это – я, а это – мой покойный батюшка.

– Как же, как же, узнаю... Благороднейшие морщины!

– На берегу Стропи, – сказал м-сье Пьер. – Вы там бывали? – обратился он к Цинциннату.

– Кажется, что нет, – ответил Родриг Иванович. – А это где же? Какое элегантное пальтецо! Знаете что, а ведь вы тут выглядите старше своих лет.

Погодите, я хочу еще раз ту, где с лейкой.

– Ну вот... Это все, что у меня с собой, – сказал м-сье Пьер и опять обратился к Цинциннату: – Если бы я знал, что вы так этим интересуетесь, я бы захватил еще, у меня альбомов с десятков наберется.

– Чудесно, поразительно, – повторял Родриг Иванович, вытирая сиреневым платком глаза, увлажнившиеся от всех этих счастливых смешков, ахов, переживаний.

М-сье Пьер сложил бумажник. Вдруг у него очутилась в руках колода карт.

– Задумайте, пожалуйста, любую, – предложил он, раскладывая карты на столе; локтем отодвинул пепельницу; продолжал раскладывать.

– Мы задумали, – бодро сказал директор.

М-сье Пьер, немножко дурачась, приставил перст к челу; затем быстро собрал карты, молодецкато протрещал колодой и выбросил тройку треф.

– Это удивительно, – воскликнул директор. – Просто удивительно!

Колода исчезла так же незаметно, как появилась, – и, сделав невозмутимое лицо, м-сье Пьер сказал:

– Приходит к доктору старушка: у меня, говорит, господин доктор, очень сурьезная болезнь, страсть боюсь, что от нее помру... «Какие же у вас симптомы?» – «Голова трясется, господин доктор», – и м-сье Пьер, шамкая и трясясь, изобразил старушку.

Родриг Иванович дико захохотал, хлопнув кулаком по столу, едва не упал со стула, закашлялся, застонал, насилу успокоился.

– Да вы, м-сье Пьер, душа общества, – проговорил он, плача, – сущая душа! Такого уморительного анекдотца я отроду не слышал!

– Какие мы печальные, какие нежные, – обратился м-сье Пьер к Цинциннату, вытягивая губы, как если бы хотел рассмешить надувшегося ребенка. – Все молчим да молчим, а усики у нас трепещут, а жилка на шейке бьется, а глазки мутные...

– Все от радости, – поспешно вставил директор. – N'y faites pas attention^[7].

– Да, в самом деле, радостный день, красный день, – сказал м-сье Пьер, – у меня самого душа так и кипит... Не хочу хвастаться, но во мне, коллега, вы найдете редкое сочетание внешней общительности и внутренней деликатности, разговорчивости и умения молчать, игривости и серьезности... Кто утешит рыдающего младенца, кто подклеит его игрушку? М-сье Пьер. Кто заступится за вдовицу? М-сье Пьер. Кто снабдит трезвым советом, кто укажет лекарство, кто принесет отрадную весть? Кто? Кто? М-сье Пьер. Все – м-сье Пьер.

– Замечательно! Талант! – воскликнул директор, словно слушал стихи, – а между тем все поглядывал, шевеля бровью, на Цинцинната.

– Вот мне и кажется, – продолжал м-сье Пьер. – Да, кстати, – перебил он самого себя, – вы довольны помещением? По ночам не холодно? Кормят вас досыта?

– Он получает то же, что и я, – ответил Родриг Иванович, – стол прекрасный.

– Прекрасный стол под орех, – пошутил м-сье Пьер.

Директор собрался опять грохнуть, но тут дверь отворилась и появился мрачный, длинный библиотекарь с кипой книг под мышкой. Горло у него было обмотано шерстяным шарфом. Ни с кем не поздоровавшись, он свалил книги на койку, – над ними в воздухе на мгновение повисли стереометрические призраки этих книг, построенные из пыли, – повисли, дрогнули и рассеялись.

– Постойте, – сказал Родриг Иванович, – вы, кажется, незнакомы.

Библиотекарь не глядя кивнул, а учтивый м-сье Пьер приподнялся со стула.

– М-сье Пьер, пожалуйста, – взмолился директор, прикладывая ладонь к манишке, – пожалуйста, покажите ему ваш фокус!

– Ах, стоит ли... Это так, пустое... – заскромничал м-сье Пьер, но директор не унимался:

– Чудо! Красная магия! Мы вас все умоляем! Ну сделайте милость... Постойте, постойте же, – крикнул он библиотекарю, который двинулся было к двери. – Сейчас м-сье Пьер кое-что покажет. Просим, просим! Да не уходите вы...

– Задумайте одну из этих карт, – с комической важностью произнес м-сье Пьер; стасовал; выбросил пятерку пик.

– Нет, – сказал библиотекарь и вышел.

М-сье Пьер пожал кругленьким плечом.

– Я сейчас вернусь, – пробормотал директор и вышел тоже.

Цинциннат и его гость остались одни. Цинциннат раскрыл книжку и углубился в нее, то есть все перечитывал первую фразу. М-сье Пьер с доброй улыбкой смотрел на него, положив лапку на стол ладошкой кверху, точно предлагал Цинциннату мир. Директор вернулся. Он крепко держал в кулаке шерстяной шарф.

– Может быть, вам, м-сье Пьер, пригодится, – сказал он, подал шарф, сел, шумно, как лошадь, отсепал и стал рассматривать большой палец, с конца которого серпом торчал полусорванный ноготь.

– О чем, бишь, мы говорили? – с прелестным тактом, будто ничего не

случилось, воскликнул м-сье Пьер. – Да – мы говорили о фотографиях. Как-нибудь я принесу свой аппарат и сниму вас. Это будет весело. Что вы читаете, можно взглянуть?

– Книжку бы отложили, – заметил директор срывающимся голосом, – ведь у вас гость сидит.

– Оставьте его, – улыбнулся м-сье Пьер.

Наступило молчание.

– Становится поздно, – глухо произнес директор, посмотрев на часы.

– Да, сейчас пойдем... Фу, какой бука... Смотрите, смотрите, – губки вздрагивают... солнышко, кажись, вот-вот выглянет... Бука, бука!..

– Пошли, – сказал директор, встав.

– Сейчас... Мне здесь так приятно, что прямо не оторваться... Во всяком случае, милый мой сосед, буду пользоваться разрешением приходить к вам часто, часто, – если, конечно, вы мне разрешение даете, – а ведь вы мне даете его, – правда?.. Итак, до свидания. До свидания! До свидания!

Смешно кланяясь, кому-то подражая, м-сье Пьер отретировался; директор опять взял его под локоток, издавая сладострастно гнусавые звуки. Ушли, – но в последнюю минуту донеслось: «Виноват, кое-что забыл, сейчас догоню вас», – и директор хлынул назад в камеру, близко подошел к Цинциннату, улыбка сошла на мгновение с его лилового лица.

– Мне стыдно, – просвистел он сквозь зубы, – стыдно за вас. Вы себя вели как... Иду, иду, – заорал он, опять сияя, – схватил со стола вазу с пионами и, расплескивая воду, вышел.

Цинциннат все глядел в книгу. На страницу попала капля. Несколько букв сквозь каплю из петита обратились в цицero, вспухнув, как под лежачей лупой.

VIII

(Есть которые чинят карандаш к себе, будто картошку чистят, а есть которые стругают от себя, как палку... К последним принадлежал Родион. У него был старый складной нож с несколькими лезвиями и штопором. Штопор ночевал снаружи.)

«Нынче восьмой день, – (писал Цинциннат карандашом), укоротившимся более чем на треть, – и я еще не только жив, то есть собою обло ограничен и затмен, но, как и всякий смертный, смертного своего предела не ведаю и могу применить к себе общую для всех формулу: вероятность будущего уменьшается в обратной зависимости от его умозримого удаления. Правда, в моем случае осторожность велит орудовать только очень небольшими цифрами, – но ничего, ничего, я жив. На меня этой ночью, – и случается так не впервые, – нашло особенное: я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и наконец... не знаю, как описать, – но вот что знаю: я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь! – как перстень с перлом в кровавом жиру акулы, – о мое верное, мое вечное... и мне довольно этой точки, – собственно, больше ничего не надо. Быть может, гражданин столетия грядущего, поторопившийся гость (хозяйка еще и не вставала), быть может, просто так – ярмарочный монстр в глазающем, безнадежно-праздничном мире, – я прожил мучительную жизнь, и это мучение хочу изложить, – но все боюсь, что не успею. С тех пор, как помню себя, – а помню себя с беззаконной зоркостью, – собственный сообщник, который слишком много знает о себе, а потому опасен, а потому... Я исхожу из такого жгучего мрака, таким выюсь волчком, с такой толкающей силой, пылом, – что до сих пор ощущаю (порою во сне, порою погружаясь в очень горячую воду) тот исконный мой трепет, первый ожог, пружину моего я. Как я выскочил, – скользкий, голый! Да, из области, другим заказанной и недоступной, да, я кое-что знаю, да... но даже теперь, когда все равно кончено, даже теперь... Боюсь ли кого соблазнить? Или ничего не получится из того, что хочу рассказать, а лишь останутся черные трупы удушенных слов, как висельники... вечерние очерки глаголей, воронье... Мне кажется, что я бы предпочел веревку, оттого что достоверно и неотвратимо знаю, что будет топор; выигрыш времени, которое сейчас настолько мне дорого, что я ценю всякую передышку, отсрочку... я имею в виду время мысли, – отпуск, который даю своей мысли для дарового

путешествия от факта к фантазии – и обратно... Я еще многое имею в виду, но неумение писать, спешка, волнение, слабость... Я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо! Нет, не могу... хочется бросить, – а вместе с тем – такое чувство, что, кипя, поднимаешься как молоко, что сойдешь с ума от щекотки, если хоть как-нибудь не выразишь. О нет, – я не облизываюсь над своей личностью, не затеваю со своей душой жаркой возни в темной комнате; никаких, никаких желаний, кроме желания высказаться – всей мировой немоте назло. Как мне страшно. Как мне тошно. Но меня у меня не отнимет никто. Мне страшно, – и вот я теряю какую-то нить, которую только что так ощутимо держал. Где она? Выскользнула! Дрожу над бумагой, догрызаюсь до графита, горбом стараюсь закрыться от двери, через которую сквозной взгляд колет меня в затылок, – и кажется, вот-вот все скомкаю, разорву... Ошибкой попал я сюда – не именно в темницу, – а вообще в этот страшный, полосатый мир: порядочный образец кустарного искусства, но в сущности – беда, ужас, безумие, ошибка, – и вот обрушил на меня свой деревянный молот исполинский резной медведь. А ведь с раннего детства мне снились сны... В снах моих мир был облагорожен, одухотворен; люди, которых я наяву так боялся, появлялись там в трепетном преломлении, словно пропитанные и окруженные той игрой воздуха, которая в зной дает жизнь самим очертаниям предметов; их голоса, поступь, выражение глаз и даже выражение одежды – приобретали волнующую значительность; проще говоря: в моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным, вольным и воздушным, что потом мне уже бывало тесно дышать прахом нарисованной жизни. К тому же я давно свыкся с мыслью, что называемое снами есть полудействительность, обещание действительности, ее преддверие и дуновение, то есть что они содержат в себе, в очень смутном, разбавленном состоянии, – больше истинной действительности, чем наша хваленая явь, которая, в свой черед, есть полусон, дурная дремота, куда извне проникают, странно, дико изменяясь, звуки и образы действительного мира, текущего за периферией сознания, – как бывает, что во сне слышишь лукавую, грозную повесть, потому что шуршит ветка по стеклу, или видишь себя проваливающимся в снег, потому что сползает одеяло. Но как я боюсь проснуться! Как боюсь того мгновения, вернее: половины мгновения, – уже тогда срезанного, когда, по-дровосечному гакнув... А чего же бояться? Ведь для меня это уже будет лишь тень топора, и низвергающееся „ать“ не этим слухом услышу. Все-таки боюсь! Так просто не отпишешься. Да и нехорошо, что мою мысль все время засасывает дыра в будущем, – хочу я о другом, хочу другое пояснить... но

пишу я темно и вяло, как у Пушкина поэтический дуэлянт. У меня, кажется, скоро откроется третий глаз сзади, на шее, между моих хрупких позвонков: безумное око, широко отверстие, с дышащей зеницей и розовыми извилинами на лоснистом яблоке. Не тронь! Даже – сильнее, с сипотой: не трожь! Я все предчувствую! И часто у меня звучит в ушах мой будущий всхлип и страшный клокочущий кашель, которым исходит свежее безглавленный. Но все это – не то, и мое рассуждение о снах и яви – тоже не то... Стой! Вот опять чувствую, что сейчас выскажусь по-настоящему, затравлю слово. Увы, никто не учил меня этой ловитве, и давно забыто древнее врожденное искусство писать, когда оно в школе не нуждалось, а загоралось и бежало как пожар, – и теперь оно кажется таким же невозможным, как музыка, некогда извлекаемая из чудовищной рояли, которая проворно журчала или вдруг раскалывала мир на огромные, сверкающие, цельные куски, – я-то сам так отчетливо представляю себе все это, но вы – не я, вот в чем непоправимое несчастье. Не умея писать, но преступным чутьем догадываясь о том, как складывают слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя этим отражением, – так что вся строка – живой перелив; догадываясь о таком соседстве слов, я, однако, добиться его не могу, а это-то мне необходимо для несегодняшней и нетутошной моей задачи. Не тут! Тупое „тут“, подпертое и запертое четою „твердо“, темная тюрьма, в которую заключен неумолимо воющий ужас, держит меня и теснит. Но какие просветы по ночам, какое... Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия. Сонный, выпуклый, синий, он медленно обращается ко мне. Это как будто в пасмурный день валяешься на спине с закрытыми глазами, – и вдруг трогается темнота под веками, понемножку переходит в томную улыбку, а там и в горячее ощущение счастья, и знаешь: это выплыло из-за облаков солнце. Вот с такого ощущения начинается мой мир: постепенно яснее дымчатый воздух, – и такая разлита в нем лучащаяся, дрожащая доброта, так расправляется моя душа в родимой области... Но дальше, дальше?... Да, вот черта, за которой теряю власть... Слово, извлеченное на воздух, лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине. Но я делаю последнее усилие, и вот, кажется, добыча есть, – о, лишь мгновенный облик добычи! Там – неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать,

чтобы соприкоснулись любые два узора на нем, – и вновь раскладывается ковер, и живешь дальше, или будущую картину налагаешь на прошлую, без конца, без конца, – с ленивой, длительной пристальностью женщины, подбирающей кушак к платью, – и вот она плавно двинулась по направлению ко мне, мерно бодая бархат коленом, – все понявшая и мне понятная... Там, там – оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там все поражает своею чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, все проникнуто той забавностью, которую знают дети; там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик... И все это – не так, не совсем так, – и я путаюсь, топчусь, завираюсь, – и чем больше двигаюсь и шарю в воде, где ищу на песчаном дне мелькнувший блеск, тем мутнее вода, тем меньше вероятность, что найду, схвачу. Нет, я еще ничего не сказал или сказал только книжное... и в конце концов следовало бы бросить, и я бросил бы, ежели трудился бы для кого-либо сейчас существующего, но так как нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке; или короче: ни одного человека, говорящего; или еще короче: ни одного человека, то заботиться мне приходится только о себе, о той силе, которая нудит высказаться. Мне холодно, я ослаб, мне страшно, затылок мой мигает и жмурится, и снова безумно-пристально смотрит, – но все-таки – я, как кружка к фонтану, цепью прикован к этому столу, – и не встану, пока не выскажусь... Повторяю (ритмом повторных заклинаний, набирая новый разгон), повторяю: кое-что знаю, кое-что знаю, кое-что... Еще ребенком, еще живя в канареечно-желтом, большом, холодном доме, где меня и сотни других детей готовили к благополучному небытию взрослых истуканов, в которые ровесники мои без труда, без боли все и превратились; еще тогда, в проклятые те дни, среди тряпичных книг, и ярко расписанных пособий, и проникающих душу сквозняков, – я знал без узнавания, я знал без удивления, я знал, как знаешь себя, я знал то, что знать невозможно, – знал, пожалуй, еще яснее, чем знаю сейчас. Ибо замаяла меня жизнь: постоянный трепет, утайка знания, притворство, страх, болезненное усилие всех нервов – не сдать, не прозвенеть... и до сих пор у меня еще болит то место памяти, где запечатлелось самое начало этого усилия, то есть первый раз, когда я понял, что вещи, казавшиеся мне естественными, на самом деле запретны, невозможны, что всякий помысел о них преступен. Хорошо же запомнился тот день! Должно быть, я тогда только что научился выводить буквы, ибо вижу себя с тем медным колечком на мизинце, которое надевалось детям, умеющим уже списывать слова с куртин в школьном саду, где петунии, флоксы и бархатцы образовали длинные

изречения. Я сидел с ногами на низком подоконнике и смотрел сверху, как на газоне сада мои сверстники, в таких же долгих розовых рубашках, в какой был я, взявшись за руки, кружатся около столба с лентами. Был ли я наказан? Нет, вернее, неохота других детей принимать меня в игру и смертельное стеснение, стыд, тоска, которые я сам ощущал, присоединяясь к ним, заставили меня предпочесть этот белый угол подоконника, резко ограниченный тенью полуотворенной рамы. До меня доносились восклицания, требуемые игрой, повелительно-звонкий голос рыжей гички, я видел ее локоны и очки, – и с брезгливым ужасом, никогда не покидавшим меня, наблюдал, как самых маленьких она подталкивала, чтобы они вертелись шибче. И эта учительница, и полосатый столб, и белые облака, пропускавшие скользящее солнце, которое вдруг проливало такой страстный, ищущий чего-то свет, так искрометно повторялось в стекле откинутой рамы... Словом, я чувствовал такой страх и грусть, что старался потонуть в себе самом, там притаиться, точно хотел затормозить и выскользнуть из бессмысленной жизни, несущей меня. В это время в конце каменной галереи, где я находился, появился старейший из воспитателей – имени его не помню, – толстый, потный, с мохнатой черной грудью, – отправлялся купаться. Еще издали крикнув мне голосом, преувеличенным акустикой, чтобы я шел в сад, он быстро приблизился, взмахнул полотенцем. В печали, в рассеянии, бесчувственно и невинно, – вместо того чтобы спуститься в сад по лестнице (галерея находилась в третьем этаже), – я, не думая о том, что делаю, но, в сущности, послушно, даже смиренно, прямо с подоконника сошел на пухлый воздух и, – ничего не испытав особенного кроме полующущения босоты (хотя был обут), – медленно двинулся, естественнейшим образом ступил вперед, все так же рассеянно посасывая и разглядывая палец, который утром занозил... но вдруг необыкновенная, оглушительная тишина вывела меня из раздумья, – я увидел внизу поднятые ко мне, как бледные маргаритки, лица оцепеневших детей и как бы падавшую навзничь гичку, увидел и кругло стриженные кусты, и еще не долетевшее до газона полотенце, увидел себя самого – мальчика в розовой рубашке, застывшего стоймя среди воздуха, – увидел, обернувшись, в трех воздушных от себя шагах только что покинутое окно и протянувшего мохнатую руку, в зловещем изумлении...»

(Тут, к сожалению, погас в камере свет, – он тушился Родионом ровно в десять.)

IX

И снова день открылся гулом голосов. Родион угрюмо распоряжался, ему помогали еще трое служителей. На свидание явилась вся семья Марфиньки, со всею мебелью. Не так, не так воображали мы эту долгожданную встречу... Как они вваливались! Старый отец Марфиньки – огромная лысая голова, мешки под глазами, каучуковый стук черной трости; братья Марфиньки – близнецы, совершенно схожие, но один с золотыми усами, а другой со смоляными; дед и бабка Марфиньки по матери – такие старые, что уже просвечивали; три бойкие кузины, которых, однако, в последнюю минуту почему-то не пропустили; Марфинькины дети – хромой Диомедон и болезненно полненькая Полина; наконец, сама Марфинька, в своем выходном черном платье, с бархаткой вокруг белой холодной шеи и зеркалом в руке; при ней неотступно находился очень корректный молодой человек с безукоризненным профилем.

Тесть, опираясь на трость, сел в прибывшее вместе с ним кожаное кресло, поставил с усилием толстую замшевую ногу на скамеечку и, злобно качая головой, из-под тяжелых век уставился на Цинцинната, которого охватило знакомое мутное чувство при виде бранденбургов, украшающих теплую куртку тестя, морщин около его рта, выражающих как бы вечное отвращение, и багрового пятна на жилистом виске, со вздутием вроде крупной изюмины на самой жиле.

Дед и бабка (он – дрожащий, ошипанный, в заплатанных брючках; она – стриженная, с белым бобриком, и такая худенькая, что могла бы натянуть на себя шелковый чехол зонтика), расположились рядышком на двух одинаковых стульях с высокими спинками; дед не выпускал из маленьких волосатых рук громоздкого, в золоченой раме, портрета своей матери – туманной молодой женщины, державшей, в свою очередь, какой-то портрет.

Между тем все продолжали прибывать мебель, утварь, даже отдельные части стен. Сиял широкий зеркальный шкаф, явившийся со своим личным отражением (а именно: уголок супружеской спальни, – полоса солнца на полу, оброненная перчатка и открытая в глубине дверь). Вкатили невеселый с ортопедическими ухищрениями велосипедик. На столике с инкрустациями лежал уже десять лет плоский гранатовый флакон и шпилька. Марфинька села на свою черную, вытканную розами кушетку.

– Горе, горе! – провозгласил тесть и стукнул тростью.

Старички испуганно улыбнулись.

– Папенька, оставьте, ведь тысячу раз пересказано, – тихо проговорила Марфинька и зябко повела плечом.

Ее молодой человек подал ей бахромчатую шаль, но она, нежно усмехнувшись одним уголком тонких губ, отвела его чуткую руку. («Я первым делом смотрю мужчине на руки».) Он был в шикарной черной форме телеграфного служащего и надушен фиалкой.

– Горе! – с силой повторил тесть и начал подробно и смачно проклинать Цинцинната. Взгляд Цинцинната увело зеленое в белую горошинку платье Полины: рыженькая, косенькая, в очках, не смех возбуждающая, а грусть этими горошинками и круглотой, тупо передвигая толстые ножки в коричневых шерстяных чулках и сапожках на пуговках, она подходила к присутствующим и словно каждого изучала, серьезно и молчаливо глядя своими маленькими темными глазами, которые сходились за переносицей. Бедняжка была обвязана салфеткой, – забыли, видно, снять после завтрака.

Тесть перевел дух, опять стукнул тростью, и тогда Цинциннат сказал:

– Да, я вас слушаю.

– Молчать, грубиян, – крикнул тот, – я вправе ждать от тебя, – хотя бы сегодня, когда ты стоишь на пороге смерти, – немножко почтительности. Ухитрись угодить на плаху... Изволь мне объяснить, как ты мог, как смел...

Марфинька что-то тихо спросила у своего молодого человека, который осторожно возился, шаря вокруг себя и под собой на кушетке.

– Нет, нет, ничего, – ответил он также тихо, – я, должно быть, ее по дороге... Ничего, найдется... А скажите, вам наверное не холодно?

Марфинька, отрицательно качая головой, опустила мягкую ладонь к нему на кисть; и, тотчас отняв руку, поправила на коленях платье и шипящим шепотом позвала сына, который приставал к своим дядьям, отталкивавшим его, – он им мешал слушать. Диомедон, в серой блузе с резинкой на бедрах, весь искривляясь с ритмическим выкрутом, довольно все же проворно прошел расстояние от них к матери. Левая нога была у него здоровая, румяная; правая же походила на ружье в сложном своем снаряде: ствол, ремни. Круглые карие глаза и редкие брови были материнские, но нижняя часть лица, бульдожьи брыльца, – это было, конечно, чужое.

– Садись сюда, – сказала вполголоса Марфинька и быстрым хлопком задержала стекавшее с кушетки ручное зеркало.

– Ты мне ответь, – продолжал тесть, – как ты смел, ты, счастливый

семьянин, – прекрасная обстановка, чудные детишки, любящая жена, – как ты смел не принять во внимание, как не одумался, злодей? Мне сдается иногда, что я просто-напросто старый болван и ничего не понимаю, – потому что иначе надобно допустить такую бездну мерзости... Молчать! – взревел он – и старички опять вздрогнули и улыбнулись.

Черная кошка, потягиваясь, напрягая задние лапки, боком потерлась о ногу Цинцинната, потом очутилась на буфете, проводившем ее глазами, и оттуда беззвучно прыгнула на плечо к адвокату, который, только что на цыпочках войдя, сидел в углу на плюшевом пуфе – очень был простужен – и, поверх готового для употребления носового платка, оглядывал присутствующих и различные предметы домашнего обихода, придававшие такой вид камере, точно тут происходил аукцион; кошка испугала его, он судорожно ее скинул.

Тесть клокотал, множил проклятия и уже начинал хрипеть. Марфинька прикрыла рукой глаза, ее молодой человек смотрел на нее, играя желваками скул. На диванчике с изогнутым прислоном сидели братья Марфиньки; брюнет, весь в желтом, с открытым воротом, держал трубку нотной бумаги еще без нот, – был одним из первых певцов города; его брат, в лазоревых шароварах, щеголь и остряк, принес подарок зятю – вазу с ярко сделанными из воска фруктами. Кроме того, он на рукаве устроил себе креповую повязку и, ловя взгляд Цинцинната, указывал на нее пальцем.

Тесть на вершине красноречивого гнева вдруг задохнулся и так двинул креслом, что тихонькая Полина, стоявшая рядом и глядевшая ему в рот, повалилась назад, за кресло, где и осталась лежать, надеясь, что никто не заметил. Тесть начал с треском вскрывать папиросную коробку. Все молчали.

Примятые звуки постепенно начинали расправляться. Брат Марфиньки, брюнет, прочистил горло и пропел вполголоса: «Mali f trano t'amesti...» – осекся и посмотрел на брата, который сделал страшные глаза. Адвокат, чему-то улыбаясь, опять принялся за платок. Марфинька на кушетке перешептывалась со своим кавалером, который упрашивал ее накинуть шаль – тюремный воздух был сыроват. Они говорили на «вы», но с каким грузом нежности проплывало это «вы» на горизонте их едва уловимой беседы... Старичок, ужасно дрожа, встал со стула, передал портрет старушке и, заслоня дрожавшее, как он сам, пламя, подошел к своему зятю, а Цинциннатову тестю, и хотел ему... Но пламя потухло, и тот сердито поморщился.

– Надоели, право, со своей дурацкой зажигалкой, – сказал он угрюмо, но уже без гнева, – и тогда воздух совсем оживился, и сразу заговорили все.

«Mali è trano t'amesti...» – полным голосом пропел Марфинькин брат.

– Диомедон, оставь моментально кошку, – сказала Марфинька, – позавчера ты уже одну задушил, нельзя же каждый день. Отнимите, пожалуйста, у него, Виктор, милый.

Пользуясь общим оживлением, Полина выползла из-за кресла и тихонько встала. Адвокат подошел к Цинциннатову тестю и дал ему огня.

– Возьми-ка слово «ропот», – говорил Цинциннату его шурин, остряк, – и прочти обратно. А? Смешно получается? Да, брат, – втяпался ты в историю. В самом деле, как это тебя угораздило?

Между тем дверь незаметно отворилась. На пороге, оба одинаково держа руки за спиной, стояли м-сье Пьер и директор – и тихо, деликатно, двигая только зрачками, осматривали общество. Смотрели они так с минуту, прежде чем удалиться.

– Знаешь что, – жарко дыша, говорил шурин, – послушайся друга муругого. Покайся, Цинциннатик. Ну сделай одолжение. Авось еще простят? А? Подумай, как это неприятно, когда башку рубят. Что тебе стоит? Ну покайся – не будь остолопом.

– Мое почтение, мое почтение, мое почтение, – сказал адвокат, подходя. – Не целуйте меня, я еще сильно простужен. О чем разговор? Чем могу быть полезен?

– Дайте мне пройти, – прошептал Цинциннат, – я должен два слова жене...

– Теперь, милейший, обсудим вопрос материальный, – сказал освежившийся тесть, протягивая так палку, что Цинциннат на нее наскочил. – Постой, постой же, я с тобою говорю!

Цинциннат прошел дальше; надо было обогнуть большой стол, накрытый на десять персон, и затем протиснуться между ширмой и шкафом, для того чтобы добраться до Марфиньки, прилегшей на кушетке. Молодой человек шалью прикрыл ей ноги. Цинциннат уже почти добрался, но вдруг раздался злобный взвизг Диомедона. Он оглянулся и увидел Эммочку, неизвестно как попавшую сюда и теперь дразнившую мальчика: подражая его хромоте, она припадала на одну ногу со сложными ужимками. Цинциннат поймал ее за голое предплечье, но она вырвалась, побежала; за ней спешила, переваливаясь, Полина, в тихом экстазе любопытства.

Марфинька повернулась к нему. Молодой человек очень корректно встал.

– Марфинька, на два слова, умоляю тебя, – скороговоркой произнес Цинциннат, споткнулся о подушку на полу и неловко сел на край кушетки,

запахиваясь в свой пеплом запачканный халат.

– Легкая мигрень, – сказал молодой человек. – Оно и понятно. Ей вредны такие волнения.

– Вы правы, – сказал Цинциннат. – Да, вы правы. Я хочу вас попросить... мне нужно наедине...

– Позвольте, сударь, – раздался голос Родиона возле него.

Цинциннат встал, Родион и другой служитель взяли, глядя друг другу в глаза, за кушетку, на которой полулежала Марфинька, крикнули, подняли и понесли к выходу.

– До свиданья, до свиданья, – по-детски кричала Марфинька, покачиваясь в лад с шагом носильщиков, но вдруг зажмурилась и закрыла лицо. Ее кавалер озабоченно шел сзади, неся поднятые с полу черную шаль, букет, свою фуражку, единственную перчатку. Кругом была суета. Братья убирали посуду в сундук. Их отец, астматически дыша, одолевал многостворчатую ширму. Адвокат всем предлагал пространный лист оберточной бумаги, неизвестно где им добытый; его видели безуспешно пытающимся завернуть в него чан с бледно-оранжевой рыбкой в мутной воде. Среди суеты широкий шкаф со своим личным отражением стоял, как брюхатая женщина, бережно держа и отворачивая зеркальное чрево, чтобы не задела. Его наклонили назад и, шатаясь, унесли. К Цинциннату подходили прощаться.

– Ну-с, не поминай лихом, – сказал тесть и с холодной учтивостью поцеловал Цинциннату руку, как того требовал обычай. Белокурый брат посадил чернявого к себе на плечи, и в таком положении они с Цинциннатом простились и ушли, как живая гора. Дед с бабкой, вздрагивая, кланялись и поддерживали туманный портрет. Служители все продолжали выносить мебель. Подошли дети: Полина, серьезная, поднимала лицо, а Диомедон, напротив, смотрел в пол. Их увел, держа обоих за руки, адвокат. Последней подлетела Эммочка: бледная, заплаканная, с розовым носом и трепещущим мокрым ртом, – она молчала, но вдруг поднялась на слегка хрустнувших носках, обвив горячие руки вокруг его шеи, – неразборчиво зашептала что-то и громко всхлипнула. Родион схватил ее за кисть, – судя по его бормотанию, он звал ее давно и теперь решительно потащил к выходу. Она же, изогнувшись, отклонив и обернув к Цинциннату голову со струящимися волосами и протянув к нему ладонью вверх очаровательную руку, с видом балетной пленницы, но с тенью настоящего отчаяния, нехотя следовала за влачившим ее Родионом, – глаза у нее закатывались, бридочка сползла с плеча, – и вот он размашисто, как из ведра воду, выплеснул ее в коридор; все еще бормоча, вернулся с

совком, чтобы подобрать труп кошки, плоско лежавший под стулом. Дверь с грохотом захлопнулась. Трудно было теперь поверить, что в этой камере только что...

– Когда волчонок ближе познакомится с моими взглядами, он перестанет меня дичиться. Кое-что, впрочем, уже достигнуто, и я сердечно этому рад, – говорил м-сье Пьер, сидя, по своему обыкновению, боком к столу, с плотно скрещенными жирными ляжками, и беря одной рукой беззвучные аккорды на клеенкой покрытом столе. Цинциннат, подпирая голову, лежал на койке.

– Мы сейчас одни, а на дворе дождь, – продолжал м-сье Пьер. – Такая погода благоприятствует задушевным шушуканиям. Давайте раз навсегда выясним... У меня создалось впечатление, что вас удивляет, даже коробит, отношение нашего начальства ко мне; выходит так, будто я на положении особом, – нет, нет, не возражайте, – давайте уж начистоту, коли на то пошло. Позвольте же мне сказать вам две вещи. Вы знаете нашего милого директора (кстати: волчонок к нему не совсем справедлив, но об этом после...), вы знаете, как он впечатлителен, как пылок, как увлекается всякой новинкой, – думаю, что и вами он увлекался в первые дни, – так что пассия, которой он теперь ко мне воспылал, не должна вас смущать. Не будем так ревнивы, друг мой. Во-вторых, как это ни странно, но, по-видимому, вам до сих пор неизвестно, за что я угодил сюда, – а вот когда я вам скажу, вы многое поймете. Простите, – что это у вас на шее, – вот тут, тут, – да, тут.

– Где? – машинально спросил Цинциннат, ощупывая себе шейные позвонки.

М-сье Пьер подошел к нему и сел на край койки.

– Вот тут, – сказал он, – но я теперь вижу – это просто тень так падала. Мне показалось – какая-то маленькая опухоль. Вы что-то неловко двигаете головой. Болит? Простудили?

– Ах, не приставайте ко мне, прошу вас, – скорбно сказал Цинциннат.

– Нет, постойте. У меня руки чистые, позвольте мне тут прощупать. Как будто все-таки... Вот тут не болит? А тут?

Маленькой, но мускулистой рукой он быстро трогал Цинцинната за шею, внимательно осматривая ее и с легким присвистом дыша через нос.

– Нет, ничего. Все у вас в исправности, – сказал он наконец, отодвигаясь и хлопая пациента по загривку. – Только ужасно она у вас тоненькая, – но так все нормально, а то, знаете, иногда случается... Покажите язык. Язык – зеркало желудка. Накройтесь, накройтесь, тут

прохладно. О чем мы беседовали? Напомните мне.

– Если вы бы действительно желали мне блага, – сказал Цинциннат, – то оставили бы меня в покое. Уйдите, прошу вас.

– Неужели вы не хотите меня выслушать, – возразил с улыбкой м-сье Пьер, – неужели вы так упрямо верите в непогрешимость своих выводов, – неизвестных мне вдобавок, – заметьте это, неизвестных.

Цинциннат молчал, пригорюнившись.

– Так позвольте рассказать, – с некоторою торжественностью продолжал м-сье Пьер, – какого рода совершено мною преступление. Меня обвинили, – справедливо или нет, это другой вопрос, – меня обвинили... В чем же, как вы полагаете?

– Да уж скажите, – проговорил с вялой усмешкой Цинциннат.

– Вы будете потрясены. Меня обвинили в попытке... Ах, неблагодарный, недоверчивый друг... Меня обвинили в попытке помочь вам бежать отсюда.

– Это правда? – спросил Цинциннат.

– Я никогда не лгу, – внушительно сказал м-сье Пьер. – Может быть, нужно иногда лгать, – это другое дело, – и, может быть, такая щепетильная правдивость глупа и не приносит в конце концов никакой пользы, – допустим. Но факт остается фактом: я никогда не лгу. Сюда, голубчик мой, я попал из-за вас. Меня взяли ночью... Где? Скажем, в Вышнеграде. Да, – я вышнеградец. Солеломни, плодовые сады. Если вы когда-нибудь пожелали бы приехать меня навестить, угощу вас нашими вышнями, – не отвечаю за каламбур, – так у нас в городском гербе. Там – не в гербе, а в остроге – ваш покорный слуга просидел трое суток. Затем экстренный суд. Затем – перевели сюда.

– Вы, значит, хотели меня спасти... – задумчиво произнес Цинциннат.

– Хотел ли я или не хотел – мое дело, друг сердечный, таракан запечный. Во всяком случае, меня в этом обвинили, – доносчики, знаете, все публика молодая, горячая, и вот: «Я здесь перед вами стою в упоенье...» – помните романс? Главной уликой послужил какой-то план сей крепости с моими будто бы пометками. Я, видите ли, будто бы продумал в мельчайших деталях идею вашего бегства, таракаша.

– Будто бы или?.. – спросил Цинциннат.

– Какое это наивное, прелестное существо! – осклабился м-сье Пьер, показывая многочисленные зубы. – У него все так просто, – как, увы, не бывает в жизни!

– Но хотелось бы знать, – сказал Цинциннат.

– Что? Правы ли были мои судьи? Действительно ли я собирался вас

спасать? Эх вы...

М-сье Пьер встал и заходил по камере.

– Оставим это, – сказал он со вздохом, – решайте сами, недоверчивый друг. Так ли, иначе ли, – но сюда я попал из-за вас. Более того: мы и на эшафот взойдем вместе.

Он ходил по камере, тихо, упруго ступая, подрагивая мягкими частями тела, обхваченного казенной пижамкой, – и Цинциннат с тяжелым унылым вниманием следил за каждым шагом проворного толстячка.

– Смеха ради, поверю, – сказал наконец Цинциннат, – посмотрим, что из этого получится. Вы слышите, – я вам верю. И даже, для вящей правдоподобности, вас благодарю.

– Ах, зачем, это уже лишнее... – проговорил м-сье Пьер и опять сел у стола. – Просто мне хотелось, чтобы вы были в курсе... Вот и прекрасно. Теперь нам обоим легче, правда? Не знаю, как вам, но мне хочется плакать. И это – хорошее чувство. Плачьте, не удерживайте этих здоровых слез.

– Как тут ужасно, – осторожно сказал Цинциннат.

– Ничего не ужасно. Кстати, я давно хотел вас пожурить за ваше отношение к здешней жизни. Нет, нет, не отмахивайтесь, разрешите мне на правах дружбы... Вы несправедливы ни к доброму нашему Родиону, ни тем более к господину директору. Пускай он человек не очень умный, несколько напыщенный, ветроватый, – при этом любит поговорить, – все так, мне самому бывает не до него, и я, разумеется, не могу с ним делиться сокровенными думами, как с вами делюсь, – особенно когда на душе кошки, простите за выражение, скребутся. Но каковы бы ни были его недостатки, – он человек прямой, честный и добрый. Да, редкой доброты, – не спорьте, – я не говорил бы, кабы не знал, а я никогда не говорю наобум, и я опытнее, лучше знаю жизнь и людей, чем вы. Вот мне и больно бывает смотреть, с какой жестокой холодностью, с каким надменным презрением вы отталкиваете Родрига Ивановича. Я у него в глазах иногда читаю такую муку... Что же касается Родиона, то как это вы, такой умный, не умеете разглядеть сквозь его напускную грубоватость всю умильную благодать этого взрослого ребенка. Ах, я понимаю, что вы нервны, что вам трудно без женщины, – а все-таки, Цинциннат, – вы меня простите, но нехорошо, нехорошо... И вообще, вы людей обижаете... Едва притрагиваетесь к замечательным обедам, которые мы тут получаем. Ладно, пускай они вам не нравятся, – поверьте, что я тоже кое-что смыслю в гастрономии, – но вы издеваетесь над ними, – а ведь кто-то их стряпал, кто-то старался... Я понимаю, что тут иногда бывает скучно, что хочется и погулять, и пошалить, – но почему думать только о себе, о своих хотениях, почему вы

ни разу даже не улыбнулись на старательные шуточки милого, трогательного Родрига Ивановича?.. Может быть, он потом плачет, ночей не спит, вспоминая, как вы реагировали...

– Защита, во всяком случае, остроумная, – сказал Цинциннат, – но я в куклах знаю толк. Не уступлю.

– Напрасно, – обиженно сказал м-сье Пьер. – Это вы еще по молодости лет, – добавил он после молчания. – Нет, нет, нельзя быть таким несправедливым...

– А скажите, – спросил Цинциннат, – вы тоже пребываете в неизвестности? Роковой мужик еще не приехал? Рубка еще не завтра?

– Вы бы таких слов лучше не употребляли, – конфиденциально заметил м-сье Пьер. – Особенно с такой интонацией... В этом есть что-то вульгарное, недостойное порядочного человека. Как это можно выговорить, – удивляюсь вам...

– А все-таки – когда? – спросил Цинциннат.

– Своевременно, – уклончиво ответил м-сье Пьер. – Что за глупое любопытство? И вообще... Нет, вам еще многому надобно научиться, так нельзя. Эта заносчивость, эта предвзятость...

– Но как они тянут... – сонно проговорил Цинциннат. – Привыкаешь, конечно... Изю дня в день держишь душу наготове, – а ведь возьмут врасплох. Так прошло десять дней, и я не свихнулся. Ну и надежда какая-то... Неясная, как в воде, – но тем привлекательнее. Вы говорите о бегстве... Я думаю, я догадываюсь, что еще кто-то об этом печется... Какие-то намеки... Но что, если это обман, складка материи, кажущаяся человеческим лицом...

Он остановился, вздохнув.

– Нет, это любопытно, – сказал м-сье Пьер, – какие же это надежды и кто этот спаситель?

– Воображение, – отвечал Цинциннат. – А вам бежать хочется?

– Как так – бежать? Куда? – удивился м-сье Пьер.

Цинциннат опять вздохнул:

– Да не все ли равно – куда. Мы бы с вами вместе... Но я не знаю, можете ли вы при вашем телосложении быстро бегать? Ваши ноги...

– Ну, это вы того, заврались, – ерзая на стуле, проговорил м-сье Пьер. – Это в детских сказках бегут из темницы. А замечания насчет моей фигуры можете оставить при себе.

– Спать хочется, – сказал Цинциннат.

М-сье Пьер закатал правый рукав. Мелькнула татуировка. Под удивительно белой кожей мышца переливалась, как толстое круглое

животное. Он крепко стал, схватил одной рукой стул, перевернул его и начал медленно поднимать. Качаясь от напряжения, он подержал его высоко над головой и медленно опустил. Это было еще только вступление.

Незаметно дыша, он долго, тщательно вытирал руки красным платочком, покамест паук, как меньшей в цирковой семье, проделывал нетрудный маленький трюк над паутиной.

Бросив ему платок, м-сье Пьер вскричал по-французски и оказался стоящим на руках. Его круглая голова понемножку наливалась красивой розовой кровью; левая штанина спустилась, обнажая щиколотку; перевернутые глаза, – как у всякого в такой позитуре, – стали похожи на глаза спрута.

– Ну что? – спросил он, снова вспрынув и приводя себя в порядок.

Из коридора донесся гул рукоплесканий – и потом, отдельно, на ходу, расхлябанно, захолопал клоун, но бацнулся о барьер.

– Ну что? – повторил м-сье Пьер. – Силушка есть? Ловкость налицо? Али вам этого еще недостаточно?

М-сье Пьер одним прыжком вскочил на стол, встал на руки и зубами схватился за спинку стула. Музыка замерла. М-сье Пьер поднимал крепко закушенный стул, вздрагивали натуженные мускулы, да скрипела челюсть.

Тихо отпахнулась дверь – и в ботфортах, с бичом, напудренный и ярко, до сиреневой слепоты, освещенный, вошел директор цирка.

– Сенсация! Мировой номер! – прошептал он и, сняв цилиндр, сел подле Цинцинната.

Что-то хрустнуло, и м-сье Пьер, выпустив изо рта стул, перекувырнулся и очутился опять на полу. Но, по-видимому, не все обстояло благополучно. Он тотчас прикрыл рот платком, быстро посмотрел под стол, потом на стул, вдруг увидел и с глухим проклятием попытался сорвать со спинки стула впившуюся в нее вставную челюсть на шарнирах. Великолепно оскаленная, она держалась мертвой хваткой. Тогда, не потерявшись, м-сье Пьер обнял стул и ушел с ним вместе.

Ничего не заметивший Родриг Иванович бешено аплодировал. Арена, однако, оставалась пуста. Он подозрительно глянул на Цинцинната, похлопал еще, но без прежнего жара, вздрогнул и с расстроенным видом покинул ложу.

На том представление и кончилось.

XI

Теперь газет в камеру не доставлялось: заметив, что из них вырезается все, могущее касаться экзекуции, Цинциннат сам отказался от них. Утренний завтрак упростился: вместо шоколада – хотя бы слабого – давали брандахлыст с флотилией чаинок; гренокв же было не раскусить. Родион не скрывал, что обслуживание молчаливо-привередливого узника наскучило ему.

За всем этим он как бы нарочно возился в камере все дольше и дольше. Его жарко-рыжая бородища, бессмысленная синева глаз, кожаный фартук, руки, подобные клешням, – все это повторно слагалось в такое гнетущее, нудное впечатление, что Цинциннат отворачивался к стене, покуда происходила уборка.

Так было и нынче, – и только возвращение стула, с глубокими следами бульдожьих зубов на верхнем крае прямой спинки, послужило особой меткой для начала этого дня. Вместе со стулом Родион принес от м-сье Пьера записку, – барашком завитой почерк, лепота знаков препинания, подпись, как танец с покрывалом. В шутливых и ласковых словах сосед благодарил за вчерашнюю дружескую беседу и выражал надежду, что она вскоре повторится.

«Позвольте вас заверить, – так кончалась записка, – что физически я очень, очень силен, – (дважды, по линейке, подчеркнуто), – и если вы в этом еще не убедились, буду иметь честь как-нибудь показать вам еще некоторые интересные, – (подчеркнуто), – примеры ловкости и поразительного мускульного развития».

Затем три часа сряду, с незаметными провалами печального оцепенения, Цинциннат, то пощипывая усы, то листая книгу, ходил по камере. Он теперь изучил ее досконально, – знал ее гораздо лучше, чем, скажем, комнату, где прожил много лет.

Со стенами дело обстояло так: их было неизменно четыре; они были сплошь выкрашены в желтый цвет; но, будучи в тени, основной тон казался темно-гладким, глиняным, что ли, по сравнению с тем переменным местом, где дневало ярко-охряное отражение окна: тут, на свету, были отчетливо заметны все пупырки густой, желтой краски, – даже волнистый заворот бороздок от дружно проехавшихся волосков кисти, – и была знакомая царапина, до которой этот драгоценный параллелограмм света доходил в десять часов утра.

От дикого каменного пола поднимался ползучий, хватающий за пятки холодок; недоразвитое, злое, маленькое эхо обитало в какой-то части слегка вогнутого потолка, с лампочкой (окруженной решеткой) посредине, – то есть нет, не совсем посредине: неправильность, мучительно раздражавшая глаз, – и в этом смысле не менее мучительна была неудавшаяся попытка закрасить железную дверь.

Из трех представителей мебели – койки, стола, стула – лишь последний мог быть передвигаем. Передвигался и паук. Вверху, там, где начиналась пологая впадина окна, упитанный черный зверек нашел опорные точки для первоклассной паутины с той же сметливостью, которую выказывала Марфинька, когда в непригоднейшем с виду углу находила, где и как развесить белье для сушки. Сложив перед собою лапы, так что торчали врозь мохнатые локти, он круглыми карими глазами глядел на руку с карандашом, тянувшимся к нему, и начинал пятиться, не спуская с нее глаз. Зато с большой охотой брал кончиками лап из громадных пальцев Родиона муху или мотылька, – и вот сейчас, например, на юго-западе паутины висело сиротливое бабочкино крыло, румяное, с шелковистой тенью и с синими ромбиками по зубчатому краю. Оно едва-едва шевелилось на тонком сквозняке.

Надписи на стенах были теперь замазаны. Исчезло и расписание правил. Унесен был – а может быть, разбит – классический кувшин с темной пещерной водой на гулком донце. Голо, грозно и холодно было в этом помещении, где свойство «тюремности» подавлялось бесстрашием – канцелярской, больничной или какой-то другой – комнаты для ожидающих, когда дело уже к вечеру и слышно только жужжание в ушах... причем ужас этого ожидания был как-то сопряжен с неправильно найденным центром потолка.

На столе, покрытом с некоторых пор клетчатой клеенкой, лежали, в сапожно-черных переплетах, библиотечные томы. Карандаш, утративший стройность и сильно искусанный, покоился на мельницей сложенных, стремительно исписанных листах. Тут же валялось письмо к Марфиньке, оконченное Цинциннатом еще накануне, то есть в день после свидания; но он все не мог решиться отослать его, а потому дал ему полежать, точно от самого предмета ждал того созревания, которого никак не достигала безвольная, нуждавшаяся в другом климате мысль.

Речь будет сейчас о драгоценности Цинцинната; о его плотской неполноте; о том, что главная его часть находилась совсем в другом месте, а тут, недоумевая, блуждала лишь незначительная доля его, – Цинциннат бедный, смутный, Цинциннат сравнительно глупый, – как бываешь во сне

доверчив, слаб и глуп. Но и во сне – все равно, все равно – настоящая его жизнь слишком сквозила.

Прозрачно побелевшее лицо Цинцинната, с пушком на впалых щеках и усами такой нежности волосяной субстанции, что это, казалось, растрепавшийся над губой солнечный свет; небольшое и еще молодое, невзирая на все терзания, лицо Цинцинната, со скользящими, непостоянного оттенка, слегка как бы призрачными, глазами, – было по выражению своему совершенно у нас недопустимо, – особенно теперь, когда он перестал таиться. Открытая сорочка, распахивающийся черный халатик, слишком большие туфли на тонких ногах, философская ермолка на макушке и легкое шевеление (откуда-то все-таки был сквозняк!) прозрачных волос на висках – дополняли этот образ, всю непристойность которого трудно словами выразить, – она складывалась из тысячи едва приметных, пересекающихся мелочей, из светлых очертаний как бы не совсем дорисованных, но мастером из мастеров тронутых губ, из порхающего движения пустых, еще не подтушеванных рук, из разбегающихся и сходящихся вновь лучей в дышащих глазах... но и это все, разобранное и рассмотренное, еще не могло истолковать Цинцинната: это было так, словно одной стороной своего существа он неуловимо переходил в другую плоскость, как вся сложность древесной листвы переходит из тени в блеск, так что не разберешь, где начинается погружение в трепет другой стихии. Казалось, что вот-вот, в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, Цинциннат так ступит, что естественно и без усилия проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель, – и уйдет туда с той же непринужденной гладкостью, с какой передвигается по всем предметам и вдруг уходит как бы за воздух, в другую глубину, бегущий отблеск поворачиваемого зеркала. При этом все в нем дышало тонкой, сонной, – но, в сущности, необыкновенно сильной, горячей и своебытной жизнью: голубые, как самое голубое, пульсировали жилки, чистая, хрустальная слюна увлажняла губы, трепетала кожа на щеках, на лбу, окаймленном растворенным светом... и так это все дразнило, что наблюдателю хотелось тут же разъять, искромсать, изничтожить нагло ускользающую плоть и все то, что подразумевалось ею, что невнятно выражала она собой, все то невозможное, вольное, ослепительное, – довольно, довольно, – не ходи больше, ляг на койку, Цинциннат, так, чтобы не возбуждать, не раздражать, – и действительно, почувствовав хищный порыв взгляда сквозь дверь, Цинциннат ложился или садился за стол, раскрывал книгу.

Книги, черневшие на столе, были вот какие: во-первых, современный роман, который Цинциннат в бытность свою на свободе прочитать не удосужился; во-вторых, одна из тех без числа издаваемых хрестоматий, в которых собраны сжатые переделки и выдержки из древней литературы; в-третьих, переплетенные номера старого журнала; в-четвертых, несколько потрепанных томиков плотненького труда на непонятном языке, принесенных по ошибке, – он этого не заказывал.

Роман был знаменитый «Quercus»^[8], и Цинциннат прочел из него уже добрую треть: около тысячи страниц. Героем романа был дуб. Роман был биографией дуба. Там, где Цинциннат остановился, дубу шел третий век; простой расчет подсказывал, что к концу книги он достигнет по крайней мере возраста шестисотлетнего.

Идея романа считалась вершиной современного мышления. Пользуясь постепенным развитием дерева (одинокое и мощно росшего у спуска в горный дол, где вечно шумели воды), автор чередой разворачивал все те исторические события – или тени событий, – коих дуб мог быть свидетелем; то это был диалог между воинами, сошедшими с коней – изабелловой масти и в яблоках, – дабы отдохнуть под свежей сенью благородной листвы; то привал разбойников и песнь простоволосой беглянки; то – под синим зигзагом грозы поспешный проезд вельможи, спасающегося от царского гнева; то на плаще труп, как будто еще трепещущий – от движения лиственной тени; то – мимолетная драма в среде поселян. Был в полторы страницы параграф, в котором все слова начинались на «п».

Автор, казалось, сидит со своим аппаратом где-то в вышних ветвях Quercus'a – высматривая и ловя добычу. Приходили и уходили различные образы жизни, на миг задерживаясь среди зеленых бликов. Естественные же промежутки бездействия заполнялись учеными описаниями самого дуба с точки зрения дендрологии, орнитологии, колеоптерологии, мифологии – или описаниями популярными, с участием народного юмора. Приводился, между прочим, подробный список всех вензелей на коре с их толкованием. Наконец, немало внимания уделялось музыке вод, палитре зорь и поведению погоды.

Цинциннат почитал, отложил. Это произведение было бесспорно лучшее, что создало его время, – однако же он одолевал страницы с тоской, беспрестанно потопляя повесть волной собственной мысли: на что мне это далекое, ложное, мертвое, – мне, готовящемуся умереть? Или же начинал представлять себе, как автор, человек еще молодой, живущий, говорят, на острове в Северном, что ли, море, сам будет умирать, – и это было как-то

смешно, – что вот когда-нибудь непременно умрет автор, – а смешно было потому, что единственным тут настоящим, реально несомненным была всего лишь смерть, – неизбежность физической смерти автора.

Свет менял место на стене. Являлся Родион с тем, что он называл фриштык. Опять бабочкино крыло скользило у него в пальцах, оставляя на них цветную пудру.

– Неужели он все еще не приехал? – спросил Цинциннат, задавая уже не впервые этот вопрос, сильно сердивший Родиона, который и теперь не ответил ничего.

– А свидания больше не дадут? – спросил Цинциннат.

В ожидании обычной изжоги, он прилег на койку и, повернувшись к стене, долго-долго помогал образоваться на ней рисункам, покладисто составлявшимся из бугорков лоснившейся краски и кругленьких их теней; находил, например, крохотный профиль с большим мышьим ухом; потом терял и уже не мог восстановить. От этой вохры тянуло могилой, она была прыщевата, ужасна, но все-таки взгляд продолжал выбирать и соображать нужные пупырки, – так недоставало, так жаждалось хотя бы едва намеченных человеческих черт. Наконец он повернулся, лег навзничь и с тем же вниманием стал рассматривать тени и трещины на потолке.

«А в общем, они, кажется, dokonали меня, – подумал Цинциннат. – Я так размяк, что это можно будет сделать фруктовым ножом».

Несколько времени он сидел на краю койки, зажав руки между коленями, сутулясь. Испустив дрожащий вздох, пошел снова бродить. Интересно все-таки, на каком это языке. Мелкий, густой, узористый набор, с какими-то точками и живчиками внутри серпчатых букв, был, пожалуй, восточный, – напоминал чем-то надписи на музейных кинжалах. Томики такие старые, пасмурные странички... иная в желтых подтеках...

Часы пробили семь, и вскоре явился Родион с обедом.

– Он, наверное, еще не приехал? – спросил Цинциннат.

Родион было ушел, но на пороге обернулся.

– Стыд и срам, – проговорил он, всхлипнув, – денно-нощно груши околачиваете... кормишь вас тут, холишь, сам на ногах не стоишь, а вы только и знаете, что с неумными вопросами лезть. Тьфу, бессовестный...

Время, ровно жужжа, продолжало течь. В камере воздух потемнел, и, когда он уже был совсем слепой и вялый, деловито зажегся свет посредине потолка, – нет, как раз-то и не посредине, – мучительное напоминание. Цинциннат разделся и лег в постель с «Quercus»'ом. Автор уже добирался до цивилизованных эпох, – судя по разговору трех веселых путников, Тита, Пуда и Вечного Жида, тянувших из фляжек вино на прохладном мху под

черным вечерним дубом.

– Неужели никто не спасет? – вдруг громко спросил Цинциннат и присел на постели (руки бедняка, показывающего, что у него ничего нет).

– Неужели никто, – повторил Цинциннат, глядя на беспощадную желтизну стен и все так же держа пустые ладони.

Сквозняк обратился в дубравное дуновение. Упал, подпрыгнул и покатился по одеялу сорвавшийся с дремучих теней, разросшихся наверху, крупный, вдвое крупнее, чем в натуре, на славу выкрашенный в блестящий желтоватый цвет, отполированный и плотно, как яйцо, сидевший в своей пробковой чашке бутафорский желудь.

XII

Он проснулся от глухого постукивания, свербежа, что-то где-то осыпалось. Так, уснув с вечера здоровым, просыпаешься за полночь в жару. Он довольно долго слушал эти звуки, – туруп, туруп, тэк, тэк, тэк, – без мысли об их значении, а просто так, – потому что они разбудили его и потому что слуху ничего другого не оставалось делать. Турупт, стук, скребет, сыпь-сыпь-сыпь-сыпь. Где? Справа? Слева? Цинциннат приподнялся.

Он слушал, – вся голова обратилась в слух, все тело в тугое сердце; он слушал и уже со смыслом разбирался в некоторых признаках: слабый настой темноты в камере... темное осело на дно... За решеткой окна – серый полусвет: значит – три, половина четвертого... Замерзшие сторожа спят... Звуки идут откуда-то снизу, – нет, пожалуй, сверху, нет, все-таки снизу, – точно за стеной, на уровне пола, скребется железными когтями большая мышь.

Особенно волновала Цинцинната сосредоточенная уверенность звуков, настойчивая серьезность, с которой они преследовали в тишине крепостной ночи – быть может, еще далекую, – но несомненно достижимую цель. Сдерживая дыхание, он, с призрачной легкостью, как лист папиросной бумаги, соскользнул... и на цыпочках, по липкому, цепкому... к тому углу, откуда как будто... как будто... но, подойдя, понял, что ошибся, – стук был правее и выше; он двинулся – и опять спутался, попавшись на том слуховом обмане, когда звук, проходя голову наискось, второпях обслуживается не тем ухом.

Неловко переступив, Цинциннат задел поднос, стоявший у стены на полу: «Цинциннат!» – сказал поднос укоризненно, – и тогда стук приостановился с резкой внезапностью, в которой была для слушателя отраднейшая разумность, – и, неподвижно стоя у стены, большим пальцем ноги придавливая ложечку на подносе и склонив отверстую, полую голову, Цинциннат чувствовал, что неизвестный копальщик тоже стынет и слушает, как и он.

Полминуты спустя, тише, сдержаннее, но еще выразительнее, еще умнее, возобновились звуки. Поворачиваясь и медленно сдвигая ступню с цинка, Цинциннат попробовал снова определить их положение: справа, ежели стать лицом к двери, – да, справа, – и во всяком случае еще далеко... вот все, что после долгого прислушивания ему удалось заключить.

Двинувшись наконец обратно к койке, за туфлями, – а то босиком становилось невмочь, – он в тумане вспугнул громконогий стул, никогда не ночевавший на том же месте, – и опять звуки оборвались – на сей раз окончательно, то есть, может быть, они бы и продолжались после осторожного перерыва, но утро уже входило в силу, и Цинциннат видел – глазами привычного представления, – как на своем табурете в коридоре, весь дымясь от сырости и разевая ярко-красный рот, потягивается Родион.

Все утро Цинциннат прислушивался да прикидывал, чем бы и как изъяснить свое отношение к звукам в случае их повторения. На дворе разыгралась – просто, но со вкусом поставленная – летняя гроза, в камере было темно, как вечером, слышался гром, то крупный, круглый, то колкий, трескучий, и молния в неожиданных местах печатала отражение решетки. В полдень явился Родриг Иванович.

– К вам пришли, – сказал он, – но я сперва хотел узнать...

– Кто? – спросил Цинциннат, одновременно подумав: только бы не теперь... (то есть только бы не теперь возобновился стук).

– Видите ли, какая штукенция, – сказал директор, – я не уверен, желаете ли вы... Дело в том, что это ваша мать, – *votre mère, paraît-il*^[9].

– Мать? – переспросил Цинциннат.

– Ну да, – мать, мамаша, мамахен, – словом, женщина, родившая вас. Принять? Решайте скорей.

– ...Видал всего раз в жизни, – сказал Цинциннат, – и право, никаких чувств... нет, нет, не стоит, не надо, это ни к чему.

– Как хотите, – сказал директор и вышел.

Через минуту, любезно воркуя, он ввел маленькую, в черном макинтоше, Цецилию Ц.

– Я вас оставлю вдвоем, – добавил он добродушно, – хотя это против наших правил, но бывают положения... исключения... мать и сын... преклоняюсь...

Exit^[10], пятась, как придворный.

В блестящем, черном своем макинтоше и в такой же непромокаемой шляпе с опущенными полями (придававших ей что-то штормово-рыбачье), Цецилия Ц. осталась стоять посреди камеры, ясным взором глядя на сына; расстегнулась; шумно втянула сопельку и сказала скорым, дробным своим говорком:

– Грозница, грязища, думала, никогда не долезу, навстречу по дороге потоки, потопы...

– Садитесь, – сказал Цинциннат, – не стойте так.

– Что-что, а у вас тут тихо, – продолжала она, все потягивая носом и крепко, как теркой, проводя пальцем под ним, так что его розовый кончик морщился и вилял. – Одно можно сказать – тихо и довольно чисто. У нас, между прочим, в приюте нету отдельных палат такого размера. Ах, постель, – миленький мой, – в каком у вас виде постель!

Она плюхнула свой профессиональный саквояжик, проворно стянула черные нитяные перчатки с маленьких подвижных рук – и, низко наклонившись над койкой, принялась стелить, стелясь как бы сама, постель наново. Черная спина с тюленьим глянцем, поясок, заштопанные чулки.

– Вот так-то лучше, – сказала она, разогнувшись, – и затем, на мгновение подбоченясь, покосилась на загроможденный книгами стол.

Она была моложава, и все ее черты подавали пример Цинциннатовым, по-своему следовавшим им; Цинциннат сам смутно чувствовал это сходство, смотря на ее востроносое личико, на покатый блеск прозрачных глаз. Посредине довольно открытой груди краснелся от душки вниз треугольник веснушчатого загара, – но вообще кожа была все та же, из которой некогда выкроен был отрезок, пошедший на Цинцинната, – бледная, тонкая, в небесного цвета прожилках.

– Ай-я-яй, тут тоже следовало бы... – пролепетала она и быстро, как все, что делала, взялась за книги, складывая их кучками. Мимоходом заинтересовавшись картинкой в раскрытом журнале, она достала из кармана макинтоша бобовидный футляр и, опустив углы рта, надела пенснэ. – Двадцать шестой год, – проговорила она, усмехнувшись, – какая старина, просто не верится.

(...две фотографии: на одной белозубый президент на вокзале в Манчестере пожимает руку умащенной летами правнучке последнего изобретателя; на другой – двуглавый теленок, родившийся в деревне на Дунае...)

Она беспричинно вздохнула, отодвинула книжку, столкнула карандаш, не успела поймать и произнесла «упс!».

– Оставьте, – сказал Цинциннат, – тут не может быть беспорядка, тут может быть только перемещение.

– Вот – я вам принесла, – (вытянула, вытягивая и подкладку, фунтик из кармана пальто). – Вот. Конфеток. Сосите на здоровьице.

Села и надула щеки.

– Лезла, долезла и устала, – сказала она, нарочито пыхтя, а потом застыла, глядя со смутным вожделением на паутину вверху.

– Зачем вы пришли? – спросил Цинциннат, шагая по камере. – Ни вам этого не нужно, ни мне. Зачем? Ведь это дурно и неинтересно. Я же

отлично вижу, что вы такая же пародия, как все, как все. И если меня угощают такой ловкой пародией на мать... Но представьте себе, например, что я возложил надежду на какой-нибудь далекий звук, как же мне верить в него, если даже вы обман. Вы бы еще сказали: гостинцев. И почему у вас макинтош мокрый, а башмачки сухие, – ведь это небрежность. Передайте бутафору.

Она – поспешно и виновато:

– Да я же была в калошах, внизу в канцелярии оставила, честное слово...

– Ах, полно, полно. Только не пускайтесь в объяснения. Играйте свою роль, – побольше лепета, побольше беспечности, – и ничего, – сойдет.

– Я пришла, потому что я ваша мать, – проговорила она тихо, и Цинциннат рассмеялся:

– Нет, нет, не сбивайтесь на фарс. Помните, что тут драма. Смешное смешным – но все-таки не следует слишком удаляться от вокзала: драма может уйти. Вы бы лучше... да, вот что, повторите, повторите мне, пожалуй, предание о моем отце. Неужели он так-таки исчез в темноте ночи и вы никогда не узнали ни кто он, ни откуда, – это странно...

– Только голос, – лица не видала, – ответила она все так же тихо.

– Во, во, подыгрывайте мне, я думаю, мы его сделаем странником, беглым матросом, – с тоской продолжал Цинциннат, прищелкивая пальцами и шагая, шагая, – или лесным разбойником, гастролирующим в парке. Или загулявшим ремесленником, плотником... Ну, скорей, придумайте что-нибудь.

– Вы не понимаете, – воскликнула она (в волнении встала и тотчас села опять), – да, я не знаю, кто он был – бродяга, беглец, да, все возможно... Но как это вы не понимаете... да, – был праздник, было в парке темно, и была я девчонкой, – но ведь не в том дело. Ведь обмануться нельзя! Человек, который сжигается живьем, знает небось, что он не купается у нас в Стропи. То есть я хочу сказать: нельзя, нельзя ошибиться... Ах, как же вы не понимаете!

– Чего не понимаю?

– Ах, Цинциннат, он – тоже...

– Что – тоже?

– Он тоже, как вы, Цинциннат...

Она совсем опустила лицо, уронила пенснэ в горсточку.

Пауза.

– Откуда вам это известно, – хмуро спросил Цинциннат, – как это можно так сразу заметить?..

– Больше вам ничего не скажу, – произнесла она, не поднимая глаз.

Цинциннат сел на койку и задумался. Его мать высморкалась с необыкновенным медным звуком, которого трудно было ожидать от такой маленькой женщины, и посмотрела вверх на впадину окна. Небо, видимо, прояснилось, чувствовалось близкое присутствие синевы, солнце провело по стене свою полоску, то бледневшую, то разгоравшуюся опять.

– Сейчас васильки во ржи, – быстро заговорила она, – и все так чудно, облака бегут, все так беспокойно и светло. Я живу далеко отсюда, в Докторском, – и когда приезжаю к вам в город, когда еду полями, в старом шарабанчике, и вижу, как блестит Стропь, и вижу этот холм с крепостью и все, – мне всегда кажется, что повторяется, повторяется какая-то замечательная история, которую все не успеваю или не умею понять, – и все ж таки кто-то мне ее повторяет – с таким терпением! Я работаю целый день в нашем приюте, мне все трын-трава, у меня любовники, я обожаю ледяной лимонад, но бросила курить, потому что расширение аорты, – и вот я сижу у вас, – я сижу у вас и не знаю, почему сижу, и почему реву, и почему это рассказываю, и мне теперь будет жарко переть вниз в этом пальто и шерстяном платье, солнце будет совершенно бешеное после такой грозы...

– Нет, вы все-таки только пародия, – прошептал Цинциннат.

Она вопросительно улыбнулась.

– Как этот паук, как эта решетка, как этот бой часов, – прошептал Цинциннат.

– Вот как, – сказала она и снова высморкалась.

– Да, вот, значит, как, – повторила она.

Оба молчали, не глядя друг на друга, между тем как с бессмысленной гулкостью били часы.

– Вы обратите внимание, когда выйдете, – сказал Цинциннат, – на часы в коридоре. Это – пустой циферблат, но зато каждые полчаса сторож смывает старую стрелку и малюет новую, – вот так и живешь по крашеному времени, а звон производит часовой, почему он так и зовется.

– А вы не шутите, – сказала Цецилия Ц., – бывают, знаете, удивительные уловки. Вот, я помню: когда была ребенком, в моде были, – ах, не только у ребят, но и у взрослых, – такие штуки, назывались «нетки», – и к ним полагалось, значит, особое зеркало, мало что кривое – абсолютно искаженное, ничего нельзя понять, провалы, путаница, все скользит в глазах, но его кривизна была неспроста, а как раз так пригнана... Или, скорее, к его кривизне были так подобраны... Нет, постойте, я плохо объясняю. Одним словом, у вас было такое вот дикое

зеркало и целая коллекция разных неток, то есть абсолютно нелепых предметов: всякие такие бесформенные, пестрые, в дырках, в пятнах, рябые, шишковатые штуки, вроде каких-то ископаемых, – но зеркало, которое обыкновенные предметы абсолютно искажало, теперь, значит, получало настоящую пищу, то есть, когда вы такой непонятный и уродливый предмет ставили так, что он отражался в непонятном и уродливом зеркале, получалось замечательно; нет на нет давало да, все восстанавливалось, все было хорошо, – и вот из бесформенной пестряди получался в зеркале чудный стройный образ: цветы, корабль, фигура, какой-нибудь пейзаж. Можно было – на заказ – даже собственный портрет, то есть вам давали какую-то кошмарную кашу, а это и были вы, но ключ от вас был у зеркала. Ах, я помню, как было весело и немного жутко – вдруг ничего не получится! – брать в руку вот такую новую непонятную нетку и приближать к зеркалу, и видеть в нем, как твоя рука совершенно разлагается, но зато как бессмысленная нетка складывается в прелестную картину, ясную, ясную...

– Зачем вы все это мне рассказываете? – спросил Цинциннат.

Она молчала.

– Зачем все это? Неужели вам неизвестно, что на днях, завтра, может быть...

Он вдруг заметил выражение глаз Цецилии Ц., – мгновенное, о, мгновенное, – но было так, словно проступило нечто настоящее, несомненное (в этом мире, где все было под сомнением), словно завернулся краешек этой ужасной жизни и сверкнула на миг подкладка. Во взгляде матери Цинциннат внезапно уловил ту последнюю, верную, все объясняющую и ото всего охраняющую точку, которую он и в себе умел нащупать. О чем именно вопила сейчас эта точка? О, неважно о чем, пускай – ужас, жалость... Но скажем лучше: она сама по себе, эта точка, выражала такую бурю истины, что душа Цинцинната не могла не взиграть. Мгновение накренилось и пронеслось. Цецилия Ц. встала, делая невероятный маленький жест, а именно – расставляя руки с вытянутыми указательными пальцами, как бы показывая размер – длину, скажем, младенца... Потом сразу засуетилась, подняла с полу черный, толстенький, на таксичьих лапках саквояж, поправила клапан кармана.

– Ну вот, – сказала она прежним лепечущим говорком, – посидела и пойду. Кушайте мои конфетки. Засиделась. Пойду, мне пора.

– О да, пора! – с грозной веселостью грянул Родриг Иванович, широко отворяя дверь.

Наклонив голову, она скользнула вон. Цинциннат, дрожа, шагнул было

вперед...

– Не беспокойтесь, – сказал директор, подняв ладонь, – эта акушерочка совершенно нам не опасна. Назад!

– Но я все-таки... – начал Цинциннат.

– Арьер! – заорал Родриг Иванович.

Из глубины коридора между тем появилась плотная полосатая фигурка м-сье Пьера. Он шел, приятно улыбаясь издали, чуть сдерживая, однако, шаг, чуть бегая глазами, как люди, которые попадают на скандал, но не хотят это подчеркивать, и нес шашечницу перед собой, ящичек, полишинеля под мышкой, еще что-то...

– Гости были? – вежливо справился он у Цинцинната, когда директор оставил их в камере одних. – Матушка ваша? Так-с, так-с. А теперь я, бедненький, слабенький м-сье Пьер, пришел вас поразвлечь и сам поразвечусь. Смотрите, как он на вас смотрит. Поклонись дяде. Правда, утомительный? Ну, сиди прямо, тезка. А я принес вам еще много забавного. Хотите сперва в шахматы? Али в картишки? В якорек умеете? Знатная игра! Давайте я вас научу!

XIII

Ждал, ждал, и вот – в мертвейший час ночи сызнова заработали звуки. Один в темноте, Цинциннат улыбнулся. Я вполне готов допустить, что и они – обман, но так в них верю сейчас, что их заражаю истиной.

Были они еще тверже и точнее, чем прошлой ночью; не тяпали сослепу; как сомневаться в их приближающемся, поступательном движении? Скромность их! Ум! Таинственное, расчетливое упрямство! Обыкновенной ли киркой или каким-нибудь чудаковатым орудием (из амальгамы негоднейшего вещества и всеильной человеческой воли), – но кто-то как-то – это было ясно – пробивал себе ход.

Стояла холодная ночь; серый, сальный отблеск луны, делясь на клетки, ложился по внутренней стенке оконной пади; вся крепость ощущалась как налитая густым мраком снутри и вылощенная луной снаружи, с черными изломами теней, которые сползали по скалистым скатам и бесшумно рушились во рвы; да, – стояла бесстрастная, каменная ночь, – но в ней, в глухом ее лоне, подтачивая ее мощь, пробивалось нечто совершенно чуждое ее составу и строю. Или это старые, романтические бредни, Цинциннат?

Он взял покорный стул и покрепче ударил им в пол, потом несколько раз в стену, – стараясь, хотя бы посредством ритма, придать стуку смысл. И действительно: пробирающийся сквозь ночь сначала стал, как бы соображая – враждебны ли или нет встречные стуки, – и вдруг возобновил свою работу с такой ликующей живостью звука, которая доказывала Цинциннату, что его отклик понят.

Он убедился, – да, это именно к нему идут, его хотят спасти, – и, продолжая постукивать в наиболее болезненные места камня, он вызывал – в другом диапазоне и ключе – полнее, сложнее, слаще – повторение тех нехитрых ритмов, которые он предлагал.

Он уже подумывал о том, как наладить азбуку, когда заметил, что не месяц, а другой, непрощеный свет разбавляет потемки, – и не успел он заметить это, как звуки втянулись. Напоследок довольно долго что-то сыпалось, но и это постепенно смолкло, – и странно было представить себе, что так недавно ночная тишь нарушалась жадной, жаркой, пронырливой жизнью, вплотную приноживающейся и придавленным щипцом храпящей – и снова роющей с остервенением, как пес, добирающийся до барсука.

Через зыбкую дремоту он видел, как входил Родион, – и было уже за полдень, когда совсем проснулся – и, как всегда, подумал прежде всего о том, что конец еще не сегодня, а ведь могло быть и сегодня, как может и завтра быть, но завтра еще далеко.

Весь день он внимал гудению в ушах, уминая себе руки, тихо здороваясь с самим собой; ходил вокруг стола, где белелось все еще не отправленное письмо; а не то воображал опять мгновенный, захватывающий дух, – как перерыв в этой жизни, – взгляд вчерашней гостии или слушал про себя шорох Эммочки. Что ж, пей эту бурду надежды, мутную, сладкую жижу, надежды мои не сбылись, я ведь думал, что хоть теперь, хоть тут, где одиночество в таком почете, оно распадется лишь надвое, на тебя и на меня, а не размножится, как оно размножилось – шумно, мелко, нелепо, я даже не мог к тебе подойти, твой страшный отец едва не перешиб мне ноги клюкой, поэтому пишу, это – последняя попытка объяснить тебе, что происходит, Марфинька, сделай необычайное усилие и пойми, пускай сквозь туман, пускай уголком мозга, но пойми, что происходит, Марфинька, пойми, что меня будут убивать, неужели так трудно, я у тебя не прошу долгих вдовьих вздыханий, траурных лилий, но молю тебя, мне так нужно – сейчас, сегодня, – чтобы ты, как дитя, испугалась, что вот со мной хотят делать страшное, мерзкое, от чего тошнит, и так орешь посреди ночи, что даже когда уже слышишь нянино приближение, – «тише, тише», – все еще продолжаешь орать, вот как тебе должно страшно стать, Марфинька, даром что мало любишь меня, но ты должна понять, хотя бы на мгновение, а потом можешь опять заснуть. Как мне расшевелить тебя? Ах, наша с тобой жизнь была ужасна, ужасна, и не этим расшевелю, я очень старался вначале, но ты знаешь – темп был у нас разный, и я сразу отстал. Скажи мне, сколько рук мяло мякоть, которой обросла так щедро твоя твердая, горькая, маленькая душа? Да, снова, как привидение, я возвращаюсь к твоим первым изменам и, воя, гремя цепями, плыву сквозь них. Поцелуй, которые я подглядел. Поцелуй ваши, которые больше всего походили на какое-то питание, сосредоточенное, неопрятное и шумное. Или когда ты, жмурясь, пожирала прыщущий персик и потом, кончив, но еще глотая, еще с полным ртом, каннибалка, топырила пальцы, блуждал ослепленный взгляд, лоснились воспаленные губы, дрожал подбородок, весь в каплях мутного сока, сползавших на оголенную грудь, между тем как приап, питавший тебя, внезапно поворачивался с судорожным проклятием, согнутой спиной ко мне, вошедшему в комнату некстати. «Марфиньке всякие фрукты полезны», – с какой-то сладко-хлюпающей сыростью в горле говорила ты, собираясь вся в одну сырую,

сладкую, проклятую складочку, – и если я опять возвращаюсь ко всему этому, так для того, чтобы отделаться, выделить из себя, очиститься, – и еще для того, чтобы ты знала, чтобы ты знала... Что? Вероятно, я все-таки принимаю тебя за кого-то другого, – думая, что ты поймешь меня, – как сумасшедший принимает зашедших родственников за звезды, за логарифмы, за вислозадых гиен, – но еще есть безумцы – те неуязвимы! – которые принимают самих себя за безумцев, – и тут замыкается круг. Марфинька, в каком-то таком кругу мы с тобой вращаемся, – о, если бы ты могла вырваться на миг, – потом вернешься в него, обещаю тебе, многого от тебя не требуется, но на миг вырвись и пойми, что меня убивают, что мы окружены куклами и что ты кукла сама. Я не знаю, почему так мучился твоими изменами, то есть, вернее, я-то сам знаю почему, но не знаю тех слов, которые следовало бы подобрать, чтобы ты поняла, почему я так мучился. Нет этих слов в том малом размере, который ты употребляешь для своих ежедневных нужд. Но все-таки я опять попытаюсь: «Меня убивают!» – так, все разом, еще: «Меня убивают!» – еще раз: «...убивают!» – я хочу это так написать, чтобы ты зажала уши – свои тонкокожие, обезьяньи уши, которые ты прячешь под прядями чудных женских волос, – но я их знаю, я их вижу, я их щиплю, холодненькие, мну их в своих беспокойных пальцах, чтобы как-нибудь их согреть, оживить, очеловечить, заставить услышать меня. Марфинька, я хочу, чтобы ты настояла на новом свидании, и уж разумеется: приди одна, приди одна! Так называемая жизнь кончена, передо мною только скользкая плаха, меня изловчились мои тюремщики довести до такого состояния, что почерк мой – видишь – как пьяный, – но ничего, у меня хватит, Марфинька, силы на такой с тобой разговор, какого мы еще никогда не вели, потому-то так необходимо, чтобы ты еще раз пришла, и не думай, что это письмо – подлог, это я пишу, Цинциннат, это плачу я, Цинциннат, который собственно ходил вокруг стола, а потом, когда Родион принес ему обед, сказал:

– Вот это письмо. Вот это письмо я вас попрошу... Тут адрес...

– Вы бы лучше научились, как другие, вязать, – проворчал Родион, – и связали бы мне фаршик. Писатель! Ведь только что видались, – с жонкой-то.

– Попробую все-таки спросить, – сказал Цинциннат. – Есть ли тут, кроме меня и этого довольно навязчивого Пьера, какие-нибудь еще заключенные?

Родион побагровел, но смолчал.

– А мужик еще не приехал? – спросил Цинциннат.

Родион собрался свирепо захлопнуть уже визжавшую дверь, но, как и

вчера, – липко шлепая сафьяновыми туфлями, дрыгая полосатыми телесами, держа в руках шахматы, карты, бильбоксэ...

– Симпатичному Родиону мое нижайшее, – тоненьким голосом произнес м-сье Пьер и, не меняя шага, дрыгая, шлепая, вошел в камеру.

– Я вижу, – сказал он, садясь, – что симпатяга понес от вас письмо. Верно, то, которое вчера лежало тут на столе? К супруге? Нет, нет – простая дедукция, я не читаю чужих писем, хотя, правда, оно лежало весьма на виду, пока мы в якорек резались. Хотите нынче в шахматы?

Он разложил шерстяную шашечницу и пухлой рукой со взведенным мизинцем расставил фигуры, прочно сделанные – по старому арестантскому рецепту – из хлебного мякиша, которому камень мог позавидовать.

– Сам я холост, но я понимаю, конечно... Вперед. Я это быстро... Хорошие игроки никогда много не думают. Вперед. Вашу супругу я мельком видал, – ядреная бабенка, что и говорить, – шея больно хороша, люблю... Э, стойте. Это я маху дал, разрешите переиграть. Так-то будет правильнее. Я большой любитель женщин, а уж меня как они любят, подлые, прямо не поверите. Вот вы писали вашей супруге о ее там глазках, губках. Недавно, знаете, я имел... Почему же я не могу съесть? Ах, вот что. Прытко, прытко. Ну, ладно, – ушел. Недавно я имел половое общение с исключительно здоровой и роскошной особой. Какое получаешь удовольствие, когда крупная брюнетка... Это что же? Вот тебе раз. Вы должны предупреждать, так не годится. Давайте сыграю иначе. Так-с. Да, роскошная, страстная, – а я, знаете, сам с усам, обладаю такой пружиной, что – ух! Вообще говоря, из многочисленных соблазнов жизни, которые, как бы играя, но вместе с тем очень серьезно, собираюсь постепенно представить вашему вниманию, соблазн любви... Нет, погодите, я еще не решил, пойду ли так. Да, пойду. Как – мат? Почему – мат? Сюда – не могу, сюда – не могу, сюда... Тоже не могу. Позвольте, как же раньше стояло? Нет, еще раньше. Ну, вот это другое дело. Зевок. Пошел так. Да, – красная роза в зубах, черные ажурные чулки по сии места и больше ни-че-го, – это я понимаю, это высшее... а теперь вместо восторгов любви – сырой камень, ржавое железо, а впереди... сами знаете, что впереди. Не заметил. А если так? Так лучше. Партия все равно – моя, вы делаете ошибку за ошибкой. Пускай она изменяла вам, но ведь и вы держали ее в своих объятиях. Когда ко мне обращаются за советами, я всегда говорю: господа, побольше изобретательности. Ничего нет приятнее, например, чем окружиться зеркалами и смотреть, как там кипит работа, – замечательно! А вот это вовсе не замечательно. Я, честное слово, думал, что пошел не сюда,

а сюда. Так что вы не могли... Назад, пожалуйста. Я люблю при этом курить сигару и говорить о незначительных вещах, и чтобы она тоже говорила, – ничего не поделаешь, известная развратность... Да, – тяжело, страшно и обидно сказать всему этому «прости» – и думать, что другие, такие же молодые и сочные, будут продолжать работать, работать... Эх! не знаю, как вы, но я в смысле ласок обожаю то, что у нас, у борцов, зовется макароны: шлеп ее по шее, и чем плотнее мяса... Во-первых, могу съесть, во-вторых, могу просто уйти; ну, так. Пойдите, пойдите, я все-таки еще подумаю. Какой был последний ход? Поставьте обратно и дайте подумать. Вздор, никакого мата нет. Вы, по-моему, тут что-то, извините, смошенничали, вот это стояло тут или тут, а не тут, я абсолютно уверен. Ну, поставьте, поставьте...

Он как бы нечаянно сбил несколько фигур и, не удержавшись, со стоном, смешал остальные. Цинциннат сидел, облокотясь на одну руку; задумчиво копал коня, который в области шеи был, казалось, не прочь вернуться в ту хлебную стихию, откуда вышел.

– В другую игру, в другую игру, в шахматы вы не умеете, – суетливо закричал м-сье Пьер и развернул ярко раскрашенную доску для игры в гуся.

Бросил кости – и сразу поднялся с трех на двадцать семь, – но потом пришлось спуститься опять, – зато с двадцати двух на сорок шесть взвился Цинциннат. Игра тянулась долго. М-сье Пьер наливался малиной, топал, злился, лез за костями под стол и вылезал оттуда, держа их на ладони и клянясь, что именно так они лежали на полу.

– Почему от вас так пахнет? – спросил Цинциннат со вздохом.

Толстенькое лицо м-сье Пьера исказилось принужденной улыбкой.

– Это у нас в семье, – пояснил он с достоинством, – ноги немножко потеют. Пробовал квасцами, но ничто не берет. Должен сказать, что, хотя страдаю этим с детства и хотя ко всякому страданию принято относиться с уважением, еще никто никогда так бестактно...

– Я дышать не могу, – сказал Цинциннат.

XIV

Они были еще ближе – и теперь так торопились, что грешно было их отвлекать выстукиванием вопросов. И продолжались они позже, чем вчера, и Цинциннат лежал на плитах крестом, ничком, как сраженный солнечным ударом, и, потворствуя ряжению чувств, ясно, через слух видел потайной ход, удлиняющийся с каждым скребом, и ощущал, словно ему облегчали темную, тесную боль в груди, как расшатываются камни, и уже гадал, глядя на стену, где-то она даст трещину и с грохотом разверзнется.

Еще потрескивало и шуршало, когда пришел Родион. За ним, в балетных туфлях на босу ногу и шерстяном платъице в шотландскую клетку, шмыгнула Эммочка и, как уже раз было, спряталась под стол, скрючившись там на корточках, так что ее льняные волосы, выющиеся на концах, покрывали ей и лицо, и колени, и даже лодыжки. Лишь только Родион удалился, она вспрянула – да прямо к Цинциннату, сидевшему на койке, и, опрокинув его, пустилась по нем карабкаться. Холодные пальцы ее горячих голых рук впивались в него, она скалилась, к передним зубам пристал кусочек зеленого листа.

– Садись смирно, – сказал Цинциннат, – я устал, всю ночь сомей не очкнул, – садись смирно и Расскажи мне...

Эммочка, возясь, уткнулась лбом ему в грудь; из-под ее рассыпавшихся и в сторону свесившихся буклей обнажилась в заднем вырезе платья верхняя часть спины, со впадиной, менявшейся от движений лопаток, и вся ровно поросшая белесоватым пушком, казавшимся симметрично расчесанным.

Цинциннат погладил ее по теплой голове, стараясь ее приподнять. Схватила его за пальцы и стала их тискать и прижимать к быстрым губам.

– Вот ластушка, – сонно сказал Цинциннат, – ну, будет, будет. Расскажи мне...

Но ею овладел порыв детской буйности. Этот мускулистый ребенок валял Цинцинната, как щенка.

– Перестань! – крикнул Цинциннат. – Как тебе не стыдно!

– Завтра, – вдруг сказала она, сжимая его и смотря ему в переносицу.

– Завтра умру? – спросил Цинциннат.

– Нет, спасу, – задумчиво проговорила Эммочка (она сидела на нем верхом).

– Вот это славно, – сказал Цинциннат, – спасители отовсюду! Давно бы

так, а то с ума сойду. Пожалуйста, слезь, мне тяжело, жарко.

– Мы убежим, и вы на мне женитесь.

– Может быть, – когда подрастешь; но только жена у меня уже есть.

– Толстая, старая, – сказала Эммочка.

Она соскочила с постели и побежала вокруг камеры, как бегают танцовщицы, крупной рысью, трясая волосами, и потом прыгнула, будто летя, и наконец закружилась на месте, раскинув множество рук.

– Скоро опять школа, – сказала она, мгновенно сев к Цинциннату на колени, – и, тотчас все забыв на свете, погрузилась в новое занятие: принялась колупать черную продольную корку на блестящей голени, корка уже наполовину была снята, и нежно розовел шрам.

Цинциннат, щурясь, глядел на ее склоненный, обведенный пушистой каемкой света профиль, и дремота долила его.

– Ах, Эммочка, помни, помни, помни, что ты обещала. Завтра! Скажи мне, как ты устроишь?

– Дайте ухо, – сказала Эммочка.

Обняв его за шею одной рукой, она жарко, влажно и совершенно невнятно загудела ему в ухо.

– Ничего не слышу, – сказал Цинциннат.

Нетерпеливо откинула с лица волосы и опять приникла.

– Бу... бу... бу... – гулко бормотала она – и вот отскочила, взвилась, – и вот уже отдыхала на чуть качавшейся трапедии, сложив и вытянув клином носки.

– Я все же очень на это рассчитываю, – сквозь растущую дрему проговорил Цинциннат; медленно приник мокрым гудящим ухом к подушке.

Засыпая, он чувствовал, как она перелезала через него, – и потом ему неясно мерещилось, что она или кто-то другой без конца складывает какую-то блестящую ткань, берет за углы, и складывает, и поглаживает ладонью, и складывает опять, – и на минуту он очнулся от визга Эммочки, которую выволакивал Родион.

Потом ему показалось, что осторожно возобновились заветные звуки за стеной... как рискованно! Ведь середина дня... но они не могли сдержаться и тихонько проталкивались к нему все ближе, все ближе, – и он, испугавшись, что сторожа услышат, начал ходить, топать, кашлять, напевать, – и когда, с сильно бьющимся сердцем, сел за стол, звуков уже не было.

А к вечеру, – как теперь завелось, – явился м-сье Пьер, в парчовой тюбетейке; непринужденно, по-домашнему прилег на Цинциннатову койку

и, пышно раскурив длинную пенковую трубку с резным подобием пэри, оперся на локоток. Цинциннат сидел у стола, дожевывая ужин, выуживая чернослив из коричневого сока.

– Я их сегодня припудрил, – бойко сказал м-сье Пьер, – так что прошу без жалоб и без замечаний. Давайте продолжим наш вчерашний разговор. Мы говорили о наслаждениях.

– Наслаждение любовное, – сказал м-сье Пьер, – достигается путем одного из самых красивых и полезных физических упражнений, какие вообще известны. Я сказал – достигается, но, может быть, слово «добывается» или «добыча» было бы еще уместнее, ибо речь идет именно о планомерной и упорной добыче наслаждения, заложенного в самых недрах обрабатываемого существа. В часы досуга работник любви сразу поражает наблюдателя соколиным выражением глаз, веселостью нрава и свежим цветом лица. Обратите также внимание на плавность моей походки. Итак, мы имеем перед собой некое явление или ряд явлений, которые можно объединить под общим термином любовного, или эротического, наслаждения.

Тут, на цыпочках, показывая жестами, чтобы его не замечали, вошел директор и сел на табурет, который сам принес.

М-сье Пьер обратил на него взор, блестящий доброжелательством.

– Продолжайте, продолжайте, – зашептал Родриг Иванович, – я пришел послушать. Pardon, одну минуточку, – только поставлю так, чтобы можно было к стене прислониться. Voilà^[11]. Умаялся все-таки, – а вы?

– Это у вас с непривычки, – сказал м-сье Пьер. – Так разрешите продолжать. Мы тут беседовали, Родриг Иванович, о наслаждениях жизни и разобрали в общих чертах эрос.

– Понимаю, – сказал директор.

– Я следующие отметил пункты... вы извините, коллега, что повторю, но мне хочется, чтобы Родригу Ивановичу тоже было интересно. Я отметил, Родриг Иванович, что мужчине, осужденному на смерть, труднее всего забыть женщину, вкусное женское тело.

– И лирику лунных ночей, – добавил от себя Родриг Иванович, строго взглянув на Цинцинната.

– Нет, вы уж не мешайте мне развивать тему, захотите – после скажете. Итак, я продолжаю. Кроме наслаждений любовных имеется целый ряд других, и к ним мы теперь перейдем. Вы, вероятно, не раз чувствовали, как расширяется грудь в чудный весенний день, когда наливаются почки и пернатые певцы оглашают рощи, одетые первой клейкой листвой. Первые скромные цветики кокетливо выглядывают из-под травы и как будто хотят

завлечь страстного любителя природы, боязливо шепча: «Ах, не надо, не рви нас, наша жизнь коротка». Расширяется и широко дышит грудь в такой день, когда поют птички и на первых деревьях появляются первые скромные листочки. Все радуется, и все ликует.

– Мастерское описание апреля, – сказал директор, тряхнув щеками.

– Я думаю, что каждый испытал это, – продолжал м-сье Пьер, – и теперь, когда не сегодня завтра мы все взойдем на плаху, незабвенное воспоминание такого весеннего дня заставляет крикнуть: «О, вернись, вернись; дай мне еще раз пережить тебя...» «Пережить тебя», – повторил м-сье Пьер, довольно откровенно заглянув в мелко исписанный свиточек, который держал в кулаке.

– Далее, – сказал м-сье Пьер, – переходим к наслаждениям духовного порядка. Вспомните, как, бывало, в грандиозной картинной галерее или музее вы останавливались вдруг и не могли оторвать глаз от какого-нибудь пикантного торса – увы, из бронзы или мрамора. Это мы можем назвать: наслаждение искусством, – оно занимает в жизни немалое место.

– Еще бы, – сказал в нос Родриг Иванович и посмотрел на Цинцинната.

– Гастрономические наслаждения, – продолжал м-сье Пьер. – Смотрите: вот – лучшие сорта фруктов свисают с древесных ветвей; вот – мясник и его помощники влекут свинью, кричащую так, как будто ее режут; вот – на красивой тарелке солидный кусок белого сала; вот – столовое вино, вишневка; вот – рыбка, – не знаю, как остальные, но я большой охотник до леща.

– Одобрю, – пробасил Родриг Иванович.

– Этот чудный пир приходится покинуть. И еще многое приходится покинуть: праздничную музыку; любимые вещички, вроде фотоаппарата или трубки; дружеские беседы; блаженство отправления естественных надобностей, которое некоторые ставят наравне с блаженством любви; сон после обеда; курение... Что еще? Любимые вещицы, – да, это уже было, – (опять появилась шпаргалка). – Блаженство... и это было. Ну, всякие еще мелочи...

– Можно кое-что добавить? – подобострастно спросил директор, но м-сье Пьер покачал головой:

– Нет, вполне достаточно. Мне кажется, что я развернул перед умственным взором коллеги такие дали чувственных царств...

– Я только хотел насчет съедобного, – заметил вполголоса директор. – Тут, по-моему, можно некоторые подробности. Например, *en fait de potage*...^[12] Молчу, молчу, – испуганно закончил он, встретив взгляд м-сье

Пьера.

– Ну что ж, – обратился м-сье Пьер к Цинциннату, – что вы на это скажете?

– В самом деле, что мне сказать? – проговорил Цинциннат. – Сонный, навязчивый вздор.

– Неисправим! – воскликнул Родриг Иванович.

– Это он так нарочно, – сказал с грозной, фарфоровой улыбкой м-сье Пьер. – Поверьте мне, он в достаточной мере чувствует всю прелесть описанных мною явлений.

– ...Но кое-чего не понимает, – гладко въехал Родриг Иванович, – он не понимает, что если бы сейчас честно признал свою блажь, честно признал, что любит то же самое, что любим мы с вами, например на первое черепаховый суп, говорят, это стихийно вкусно, то есть я хочу только заметить, что если бы он честно признал и раскаялся, – да, раскаялся бы, – вот моя мысль, – тогда была бы для него некоторая отдаленная – не хочу сказать надежда, но во всяком случае...

– Пропустил насчет гимнастики, – зашептал м-сье Пьер, просматривая свою бумажку, – экая досада!

– Нет, нет, прекрасно сказали, прекрасно, – вздохнул Родриг Иванович, – лучше нельзя было. Во мне встрепенились желания, которые дремали десятки лет. Вы что – еще посидите? Или со мной?

– С вами. Он сегодня просто злюка. Даже не смотрит. Царства ему предлагаешь, а он дуется. Мне ведь нужно так мало, – одно словцо, кивок. Ну, ничего не поделаешь. Пошли, Родриго.

Вскоре после их ухода потух свет, и Цинциннат в темноте перебрался на койку (неприятно, чужой пепел, но больше некуда лечь), и, по всем хрящикам и позвонкам выхрустывая длинную тоску, весь вытянулся; вобрал воздух и подержал его с четверть минуты. Может быть: просто каменщики. Чинят. Обман слуха: может быть, все это происходит далеко, далеко (выдохнул). Он лежал на спине, шевеля торчавшими из-под одеяла пальцами ног и поворачивая лицо то к невозможному спасению, то к неизбежной казни. Свет вспыхнул опять.

Почесывая рыжую грудь под рубашкой, явился Родион за табуретом. Увидев искомый предмет, он не долго думая сел на него, тяжело крикнул, громадной ладонью помял опущенное лицо и, по-видимому, собрался всхрапнуть.

– Еще не приехал? – спросил Цинциннат.

Родион немедленно встал и вышел с табуретом.

Мрик – мрак.

Оттого ли, что со дня суда прошел некоторый цельный срок: две недели, – оттого ли, что приближение спасательных звуков сулило перемену в судьбе, – но в эту ночь Цинциннат мысленно занимался тем, что делал смотр часам, проведенным в крепости. Невольно уступая соблазну логического развития, невольно (осторожно, Цинциннат!) сковывая в цепь то, что было совершенно безопасно в виде отдельных, неизвестно куда относившихся звеньев, он придавал смысл бессмысленному и жизнь неживому. На фоне каменной темноты он сейчас разрешал появляться освещенным фигурам всех своих обычных посетителей... впервые, впервые воображение его так снисходило к ним. Появлялся докучный сосед-арестантик, с наливным личиком, лоснящимся, как то восковое яблоко, которое на днях приносил балагур зять; появлялся адвокат, подвижной, поджарый, высвобождающий из рукавов фрака манжеты; появлялся мрачный библиотекарь, и в черном, гладком парике дебелый Родриг Иванович, и Эммочка, и вся Марфинькина семья, и Родион, и другие, смутные сторожа и солдаты, – и, вызывая их, – пускай не веря в них, но все-таки вызывая, – Цинциннат давал им право на жизнь, содержал их, питал их собой. Ко всему этому присоединялась ежеминутная возможность возвращения волнующего стука, действующая как разымчивое ожидание музыки, – так что Цинциннат находился в странном, трепетном, опасном состоянии, – и с каким-то возрастающим торжеством били далекие часы, – и вот, выходя из мрака, подавая друг другу руки, смыкались в круг освещенные фигуры – и, слегка напирая вбок, и кренясь, и тащась, начинали – сперва тугое, влачащееся – круговое движение, которое постепенно выправлялось, легчало, ускорялось, и вот уже пошло, пошло, – и чудовищные тени от плеч и голов пробежали, повторяясь, все шибче по каменным сводам, и тот неизбежный весельчак, который в хороводе высоко поднимает ноги, смешав остальных, более чопорных, отбрасывал на стены громадные черные углы своих безобразных колен.

Утро прошло тихо, но зато около пяти пополудни начался сокрушительнейший треск: тот, кто работал, рьяно торопился, бесстыдно гремел; впрочем, не намного приблизился со вчерашнего дня.

Внезапно произошло нечто особенное: рухнула будто какая-то внутренняя преграда, и уже теперь звуки проявились с такой выпуклостью и силой (мгновенно перейдя из одного плана в другой – прямо к рампе), что стало ясно: они вот тут, сразу за тающей, как лед, стеной, и вот сейчас, сейчас прорвутся.

И тогда узник решил, что пора действовать. Страшно спеша, трепеща, но все же стараясь не терять над собой власти, он достал и надел те резиновые башмаки, те полотняные панталоны и куртку, в которых был, когда его взяли; нашел носовой платок, два носовых платка, три носовых платка (беглое преобразование их в те простыни, которые связываются вместе); на всякий случай сунул в карман какую-то веревочку с еще прикрученной к ней деревянной штучкой для носки пакетов (не засовывалась, кончик висел); ринулся к постели с целью так взбить и покрыть одеялом подушку, чтобы получилось чучело спящего; не сделал этого, а кинулся к столу, с намерением захватить написанное; но и тут на полпути переменял направление, ибо от победоносной, бешеной стукотни мешались мысли... Он стоял, вытянувшись как стрела, руки держа по швам, когда, в совершенстве воплощая его мечту, желтая стена на аршин от пола дала молниевидную трещину, тотчас набрякла, толкаемая снутри, и внезапно с грохотом разверзлась.

Из черной дыры в облаке мелких обломков вылез, с киркой в руке, весь осыпанный белым, весь извивающийся и шлепающийся, как толстая рыба в пыли, весь зыблющийся от смеха, м-сье Пьер, и, сразу за ним – но раком, – толстозадый, с прорехой, из которой торчал клок серой ваты, без сюртука, тоже осыпанный всякой дрянью, тоже помирающий со смеху, Родриг Иванович, и, выкатившись из дыры, они оба сели на пол и уже без удержу затряслись, со всеми переходами от хо-хо-хо до кхи-кхи-кхи и обратно, с жалобными писканиями в интервалах взрывов, – толкая друг друга, друг на друга валясь...

– Мы, мы, это мы, – выдавил наконец м-сье Пьер, повернув к Цинциннату меловое лицо, причем желтый паричок его с комическим свистом приподнялся и опал.

– Это мы, – проговорил неожиданным для него фальцетом Родриг Иванович и густо загоготал снова, задрав мягкие ноги в невозможных гетрах эксцентрика.

– Уф! – произнес м-сье Пьер, вдруг успокоившись; встал с пола и, обивая ладонь о ладонь, оглянулся на дыру: – Ну и поработали же мы, Родриг Иванович! Вставайте, голубчик, довольно. Какая работа! Что же, теперь можно и воспользоваться этим превосходным туннелем... Позвольте вас пригласить, милый сосед, ко мне на стакан чаю.

– Если вы только меня коснетесь... – прошелестел Цинциннат, – и так как с одной стороны, готовый его обнять и впихнуть, стоял белый, потный м-сье Пьер, а с другой, – тоже раскрыв объятия, голоплечий, в свободно висящей манишке, – Родриг Иванович, и оба как бы медленно раскачивались, собираясь навалиться на него, то Цинциннат избрал единственное возможное направление, а именно то, которое ему указывалось. М-сье Пьер легонько подталкивал его сзади, помогая ему вползать в отверстие.

– Присоединяйтесь, – обратился он к Родригу Ивановичу, но тот отказался, сославшись на расстройство туалета.

Сплюснутый и зажмуренный, полз на карачках Цинциннат, сзади полз м-сье Пьер, и, отовсюду тесня, давила на хребет, колола в ладони, в колени крошечная тьма, полная осыпчивого треска, и несколько раз Цинциннат утыкался в тупик, и тогда м-сье Пьер тянул за икры, заставляя из тупика пятиться, и ежеминутно угол, выступ, неизвестно что больно задевало голову, и вообще тяготела над ним такая ужасная, беспросветная тоска, что, не будь сзади сопящего, бодучего спутника, – он бы тут же лег и умер. Но вот, после длительного продвижения в узкой, угольно-черной тьме (в одном месте, сбоку, красный фонарик тускло обдал лоском черноту), после тесноты, слепоты, духоты, – вдали показался округлявшийся бледный свет: там был поворот и наконец – выход; неловко и кротно Цинциннат выпал на каменный пол – в пронзенную солнцем камеру м-сье Пьера.

– Милости просим, – сказал хозяин, вылезая за ним; тотчас достал платяную щетку и принялся ловко обчищать мигающего Цинцинната, деликатно сдерживая и смягчая движение там, где могло быть чувствительно. При этом он, сгибаясь, будто опутывая его чем, ходил кругом Цинцинната, который стоял совершенно неподвижно, пораженный одной необыкновенно простой мыслью, пораженный, вернее, не самой мыслью, – а тем, что она не явилась ему раньше.

– А я, разрешите, сделаю так, – произнес м-сье Пьер и стянул с себя пыльную фуфайку; на мгновение, как бы невзначай, напряг руку, косясь на

бирюзово-белый бицепс и распространяя свойственное ему зловоние. Вокруг левого соска была находчивая татуировка – два зеленых листика, – так что самый сосок казался бутонем розы (из марципана и цуката). – Присаживайтесь, прошу, – сказал он, надевая халат в ярких разводах, – чем богат, тем и рад. Мой номер, как видите, почти не отличается от вашего. Я только держу его в чистоте и украшаю... украшаю чем могу. – (Он слегка задохнулся, вроде как от волнения.)

Украшаю. Аккуратно выставил малиновую цифру стенной календарь с акварельным изображением крепости при заходящем солнце. Одеяло, сшитое из разноцветных ромбов, прикрывало койку. Над ней кнопками были прикреплены снимки игривого жанра и висела кабинетная фотография м-сье Пьера; из-за края рамы выпускал гофрированные складки бумажный веерок. На столе лежал крокодиловый альбом, золотился циферблат дорожных часов, и над блестящим ободком фарфорового стакана с немецким пейзажем глядели в разные стороны пять-шесть бархатистых анютиных глазок. В углу камеры был прислонен к стене большой футляр, содержащий, казалось, музыкальный инструмент.

– Я чрезвычайно счастлив вас видеть у себя, – говорил м-сье Пьер, прогуливаясь взад и вперед и каждый раз проходя сквозь косую полосу солнца, в которой еще играла известковая пыль. – Мне кажется, что за эту неделю мы с вами так подружились, как-то так хорошо, тепло сошлись, как редко бывает. Вас, я вижу, интересует, что внутри? Вот дайте, – (он перевел дух), – дайте договорить и тогда покажу вам...

– Наша дружба, – продолжал, разгуливая и слегка задыхаясь, м-сье Пьер, – наша дружба расцвела в тепличной атмосфере темницы, где питалась одинаковыми тревогами и надеждами. Думаю, что я вас знаю теперь лучше, чем кто-либо на свете, – и, уж конечно интимнее, чем вас знала жена. Мне поэтому особенно больно, когда вы поддаетесь чувству злобы или бываете невнимательны к людям... Вот сейчас, когда мы к вам так весело явились, вы опять Родриг Ивановича оскорбили напускным равнодушием к сюрпризу, в котором он принимал такое милое, энергичное участие, а ведь он уже далеко не молод и немало у него собственных забот. Нет, об этом сейчас не хочу... Мне только важно установить, что ни один ваш душевный оттенок не ускользает от меня, и потому мне лично кажется не совсем справедливым известное обвинение... Для меня вы прозрачны, как – извините изысканность сравнения – как краснеющая невеста прозрачна для взгляда опытного жениха. Не знаю, у меня что-то с дыханием, простите, сейчас пройдет. Но если я вас так близко изучил и – что таить – полюбил, крепко полюбил, – то и вы, стало быть, узнали меня,

привыкли ко мне, – более того, привязались ко мне, как я к вам. Добиться такой дружбы – вот в чем заключалась первая моя задача, и, по-видимому, я разрешил ее успешно. Успешно. Сейчас будем пить чай. Не понимаю, почему не несут.

Он сел, хватаясь за грудь, к столу против Цинцинната, но сразу вскочил опять; вынул из-под подушки кожаный кошелек, из кошелька – замшевый чехольчик, из чехольчика – ключ и подошел к большому футляру, стоявшему в углу.

– Я вижу, вы потрясены моей аккуратностью, – сказал он и бережно опустил на пол футляр, оказавшийся увесистым и неповоротливым. – ...Но видите ли, аккуратность украшает жизнь одинокого человека, который этим доказывает самому себе...

В раскрывшемся футляре, на черном бархате, лежал широкий, светлый топор.

– ...самому себе доказывает, что у него есть гнездышко... Гнездышко, – продолжал м-сье Пьер, снова запирая футляр, прислоняя его к стене и сам прислоняясь, – гнездышко, которое он заслужил, свил, наполнил своим теплом... Тут вообще большая философская тема, но по некоторым признакам мне кажется, что вам, как и мне, сейчас не до тем. Знаете что? Вот мой совет: чайку мы с вами попьем после, – а сейчас пойдите к себе и прилягте, идите. Мы оба молоды, вам не следует оставаться здесь дольше. Завтра вам объяснят, а теперь идите. Я тоже возбужден, я тоже не владею собой, вы должны это понять...

Цинциннат тихо тербил запертую дверь.

– Нет, нет, вы – по нашему туннелю. Недаром же трудились. Ползком, ползком. Я дыру занавешиваю, а то некрасиво. Пожалуйте...

– Сам, – сказал Цинциннат.

Он влез в черное отверстие и, шурша ушибленными коленями, пополз на четвереньках, проникая все глубже в тесную темноту. М-сье Пьер, гулко вдогонку крикнув ему что-то насчет чая, по-видимому, завел сторку, – ибо Цинциннат сразу почувствовал себя отрезанным от светлой камеры, где только что был.

С трудом дыша шероховатым воздухом, натываясь на острое – и без особого страха ожидая обвала, – Цинциннат вслепую пробирался по извилистому ходу и попадал в каменные мешки, и, как смирное отступающее животное, подавался назад, и, нащупав продолжение хода, полз дальше. Ему не терпелось лечь на мягкое, хотя бы на свою койку, завернуться с головой и ни о чем не думать. Это обратное путешествие так затянулось, что, обдирая плечи, он начал торопиться, поскольку ему это

позволяло постоянное предчувствие тупика. Духота дурманила, – и он решил было замереть, поникнуть, вообразить себя в постели и на этой мысли, быть может, уснуть, – как вдруг дно, по которому он полз, пошло вниз, под весьма ощутимый уклон, и вот мелькнула впереди красновато-блестящая щель, и пахло сыростью, плесенью, точно он из недр крепостной стены перешел в природную пещеру, и с низкого свода над ним, каждая на коготке, головкой вниз, закутавшись, висели в ряд, как сморщенные плоды, летучие мыши в ожидании своего выступления, – щель пламенисто раздвинулась, и повеяло свежим дыханием вечера, и Цинциннат вылез из трещины в скале на волю.

Он очутился на одной из многих муравчатых косин, которые, как заостренные темно-зеленые волны, круто взлизывали на разных высотах промеж скал и стен уступами поднимавшейся крепости. В первую минуту у него так кружилась голова от свободы, высоты и простора, что он, вцепившись в сырой дерн, едва ли что-либо замечал, кроме того, что по-вечернему громко кричат ласточки, черными ножницами стригущие крашенный воздух, что закатное зарево охватило полнеба, что над затылком поднимается со страшной быстротой слепая каменная крутизна крепости, из которой он, как капля, выжался, а под ногами – бредовые обрывы и клевером курящийся туман.

Отдышавшись, справившись с игрой в глазах, с дрожью в теле, с напором ахающей, ухающей, широко и далеко раскатывающейся воли, он прилепился спиной к скале и обвел глазами дымящуюся окрестность. Далеко внизу, где сумерки уже осели, едва виднелся в струях тумана узористый горб моста. А там, по другую сторону, дымчатый, синий город, с окнами как раскаленные угольки, не то еще занимал блеск у заката, не то уже засветился за свой счет, – можно было различить, как, постепенно нанизываясь, зажигались бусы фонарей вдоль Крутой, – и была необычайно отчетлива тонкая арка в верхнем ее конце. За городом все мглисто мрело, складывалось, ускользало, – но над невидимыми садами, в розовой глубине неба, стояли цепью прозрачно-огненные облачка и тянулась одна длинная лиловая туча с горящими прорезами по нижнему краю, – и пока Цинциннат глядел, там, там, вдали, венецианской ярью вспыхнул поросший дубом холм и медленно затмился.

Пьяный, слабый, скользя по жесткому дерну и балансируя, он двинулся вниз, и к нему сразу из-за выступа стены, где предостерегающе шуршал траурный терновник, выскочила Эммочка, с лицом и ногами, розовыми от заката, и, крепко схватив его за руку, повлекла за собой. Во всех ее движениях сказывалось волнение, восторженная поспешность.

– Куда мы? Вниз? – прерывисто спрашивал Цинциннат, смеясь от нетерпения.

Она быстро повела его вдоль стены. В стене отворилась небольшая зеленая дверь. Вниз вели ступени, – незаметно проскочившие под ногами. Опять скрипнула дверь; за ней был темноватый проход, где стояли сундуки, платяной шкаф, прислоненная к стене лесенка и пахло керосином; тут оказалось, что они с черного хода проникли в директорскую квартиру, ибо, – уже не так цепко держа его за пальцы, уже рассеянно выпуская их, Эммочка ввела его в столовую, где, за освещенным овальным столом, все сидели и пили чай. У Родрига Ивановича салфетка широко покрывала грудь; его жена – тощая, веснушчатая, с белыми ресницами – передавала пузырьки м-сье Пьеру, который нарядился в косоворотку с петушками; около самовара лежали в корзинке клубки цветной шерсти и блестели стеклянистые спицы. Востроносая старушка в наколке и черной мантилке хохлилась в конце стола.

Увидев Цинцинната, директор разинул рот, и что-то с угла потекло.

– Фуй, озорница! – с легким немецким акцентом проговорила директорша.

М-сье Пьер, помешивая чай, застенчиво опустил глаза.

– В самом деле, что за шалости? – сквозь дынный сок произнес Родриг Иванович. – Не говоря о том, что это против всяких правил!

– Оставьте, – сказал м-сье Пьер, не поднимая глаз. – Ведь они оба дети.

– Каникулам конец, вот и хочется ей пошалить, – быстро проговорила директорша.

Эммочка, нарочито стуча стулом, егозя и облизываясь, села за стол и, навсегда забыв Цинцинната, принялась посыпать сахаром, сразу оранжевевшим, лохматый ломоть дыни, в который затем вертляво впилась, держа его за концы, доходившие до ушей, и локтем задевая соседа. Сосед продолжал хлебать свой чай, придерживая между вторым и третьим пальцем торчавшую ложечку, но незаметно опустил левую руку под стол.

– Ай! – щекотливо дернулась Эммочка, не отрываясь, впрочем, от дыни.

– Садитесь-ка покамест там, – сказал директор, фруктовым ножом указывая Цинциннату зеленое, с антимакассаром, кресло, стоявшее особняком в штофном полусумраке около складок портьеры. – Когда мы кончим, я вас отведу восвояси. Да садитесь, говорят вам. Что с вами? Что с ним? Вот непонятливый!

М-сье Пьер наклонился к Родригу Ивановичу и, слегка покраснев, что-

то ему сообщил.

У того так и громыхнуло в гортани.

– Ну, поздравляю вас, поздравляю, – сказал он, с трудом сдерживая порывы голоса. – Радостно!.. Давно пора было... Мы все... – он взглянул на Цинциннату и уже собрался торжественно.

– Нет, еще рано, друг мой, не смущайте меня, – прошептал м-сье Пьер, тронув его за рукав.

– Во всяком случае, вы не откажетесь от второго стаканчика чаю, – игриво произнес Родриг Иванович, а потом, подумав и почавкав, обратился к Цинциннату:

– Эй, вы там. Можете пока посмотреть альбом. Дитя, дай ему альбом. Это к ее, – (жест ножом), – возвращению в школу наш дорогой гость сделал ей... сделал ей... Виноват, Петр Петрович, я забыл, как вы это назвали?

– Фотогороскоп, – скромно ответил м-сье Пьер.

– Лимончик оставить? – спросила директорша.

Висячая керосиновая лампа, оставляя в темноте глубину столовой (где только вспыхивал, откалывая крупные секунды, блик маятника), проливали на уютную сервировку стола семейственный свет, переходивший в звон чайного чина.

XVI

Спокойствие. Паук высосал маленькую, в белом пушку, бабочку и трех комнатных мух, – но еще не совсем насытился и посматривал на дверь. Спокойствие. Цинциннат был весь в ссадинах и синяках. Спокойствие, ничего не случилось. Накануне вечером, когда его отвели обратно в камеру, двое служителей кончали замазывать место, где давеча зияла дыра. Теперь оно было отмечено всего лишь наворотами краски покруглее да погуще, – и делалось душно при одном взгляде на снова ослепшую, оглохшую и уплотнившуюся стену.

Другим останком вчерашнего дня был крокодиловый, с массивной темно-серебряной монограммой альбом, который он взял с собой в смиренном рассеянии: альбом особенный, а именно – фотогороскоп, составленный изобретательным м-сье Пьером, то есть серия фотографий, с естественной постепенностью представляющих всю дальнейшую жизнь данной персоны. Как это делалось? А вот как. Сильно подправленные снимки с сегодняшнего лица Эммочки дополнялись частями снимков чужих – ради туалетов, обстановки, ландшафтов, – так что получалась вся бутафория ее будущего. По порядку вставленные в многоугольные оконца каменно-плотного, с золотым обрезом картона и снабженные мелко написанными датами, эти отчетливые и на полувзгляд неподдельные фотографии демонстрировали Эммочку сначала – какой она была сегодня, затем – по окончании школы, то есть спустя три года, скромницей, с чемоданчиком балерины в руке, затем – шестнадцати лет, в пачках, с газовыми крыльцами за спиной, вольно сидящей на столе, с поднятым бокалом, среди бледных гуляк, затем – лет восемнадцати, в фатальном трауре, у перил над каскадом, затем... ах, во многих еще видах и позах, вплоть до самой последней – лежащей.

При помощи ретушировки и других фотофокусов как будто достигалось последовательное изменение лица Эммочки (искусник, между прочим, пользовался фотографиями ее матери), но стоило взглянуть ближе, и становилась безобразно ясной аляповатость этой пародии на работу времени. У Эммочки, выходявшей из театра в мехах с цветами, прижатými к плечу, были ноги, никогда не плясавшие; а на следующем снимке, изображавшем ее уже в венчальной дымке, стоял рядом с ней жених, стройный и высокий, но с кругленькой физиономией м-сье Пьера. В тридцать лет у нее появлялись условные морщины, проведенные без

смысла, без жизни, без знания их истинного значения, – но знатоку говорящие совсем странное, как бывает, что случайное движение ветвей совпадает с жестом, понятным для глухонемого. А в сорок лет Эммочка умирала, – и тут позвольте вас поздравить с обратной ошибкой: лицо ее на смертном одре никак не могло сойти за лицо смерти!

Родион унес этот альбом, бормоча, что барышня сейчас уезжает, а когда опять явился, счел нужным сообщить, что барышня уехала:

(Со вздохом.) «У-е-хали!.. – (К пауку.) – Будет с тебя... – (Показывает ладони.) – Нет у меня ничего. – (Снова к Цинциннату.) – Скучно, ой скучно будет нам без дочки, ведь как летала, да песни играла, баловница наша, золотой наш цветок. – (После паузы другим тоном.) – Чтой-то вы нынче, сударь мой, никаких таких вопросов с закавыкой не задаете? А?»

«То-то», – сам себе внушительно ответил Родион и с достоинством удалился.

А после обеда, совершенно официально, уже не в арестантском платье, а в бархатной куртке, артистическом галстуке бантом и новых, на высоких каблуках, вкрадчиво поскрипывающих сапогах с блестящими голенищами (чем-то делавших его похожим на оперного лесника), вошел м-сье Пьер, а за ним, почтительно уступая ему первенство в продвижении, в речах, во всем, – Родриг Иванович и, с портфелем, адвокат. Все трое разместились у стола в плетеных креслах (из приемной), Цинциннат же сперва ходил по камере, единоборствуя с постыдным страхом, но потом тоже сел.

Не очень ловко (неловкость, однако, испытанная, привычная) завозясь с портфелем, отдергивая черную его щеку, держа его частью на колене, частью опирая его о стол – и съезжая то с одной точки, то с другой, – адвокат извлек большой блокнот, запер или, вернее, застегнул слишком податливый и потому не сразу попадающий на зуб портфель; положил его было на стол, но передумал и, взяв его за шиворот, опустил на пол, прислонив его в сидячем положении пьяного к ножке своего кресла; быстро вынул – точно из петлицы – эмалированный карандаш, наотмашь открыл на столе блокнот и, ни на что и ни на кого не обращая внимания, начал ровно исписывать отрывные страницы; но именно это невнимание ко всему окружающему сугубо подчеркивало связь между бегом его карандаша и тем заседанием, на которое тут собрались.

Родриг Иванович сидел в кресле, слегка откинувшись – нажимом плотной спины заставляя трещать кресло и опустив одну лиловатую лапу на подлокотник, а другую заложив за борт сюртука; время от времени он производил такое движение отвислыми щеками и напудренным, как рахат-лукум, подбородком, словно высвобождал их из какой-то вязкой,

засасывающей среды.

М-сье Пьер, сидевший посередине, налил себе воды из графина, затем бережно-бережно положил на стол кисти рук со сплетенными пальцами (игра фальшивого аквамарина на мизинце) и, опустив длинные ресницы, секунд десять благоговейно обдумывал, как начнет свою речь.

– Милостивые государи, – не поднимая глаз, тонким голосом сказал наконец м-сье Пьер, – прежде всего и раньше всего позвольте мне обрисовать двумя-тремя удачными штрихами то, что мною уже выполнено.

– Просим, – пробасил директор, сурово скрипнув креслом.

– Вам, конечно, известны, господа, причины той забавной мистификации, которая требуется традицией нашего искусства. В самом деле. Каково было бы, если бы я, с бухты-барахты открывшись, предложил Цинциннату Ц. свою дружбу? Ведь это значило бы, господа, заведомо его оттолкнуть, испугать, восстановить против себя, – совершить, словом, роковую ошибку.

Докладчик отпил из стакана и осторожно отставил его.

– Не стану говорить о том, – продолжал он, взмахнув ресницами, – как драгоценна для успеха общего дела атмосфера теплой товарищеской близости, которая постепенно, с помощью терпения и ласки, создается между приговоренным и исполнителем приговора. Трудно, или даже невозможно, без содрогания вспомнить варварство давно минувших времен, когда эти двое, друг друга не зная вовсе, чужие друг другу, но связанные неумолимым законом, встречались лицом к лицу только в последний миг перед самым таинством. Все это изменилось, точно так же, как изменилось с течением веков древнее, дикое заключение браков, похожее скорее на заклятие, – когда покорная девственница швырялась родителями в шатер к незнакомцу.

(Цинциннат нашел у себя в кармане серебряную бумажку от шоколада и стал ее мять.)

– И вот, господа, для того чтобы наладить самые дружеские отношения с приговоренным, я поселился в такой же мрачной камере, как он, во образе такого же, чтобы не сказать более, узника. Мой невинный обман не мог не удасться, и поэтому странно было бы мне чувствовать какие-либо угрызения; но я не хочу ни малейшей капли горечи на дне нашей дружбы. Несмотря на присутствие очевидцев и на сознание своей конкретной правоты, я у вас, – (он протянул Цинциннату руку), – прошу прощения.

– Да, это – настоящий такт, – вполголоса произнес директор, и его воспаленные лягушачьи глаза увлажнились; он достал сложенный платок, поднес было к бьющемуся веку, но раздумал, и вместо того сердито и

выжидательно уставился на Цинцинната. Адвокат тоже взглянул, но мельком, при этом беззвучно двигая губами, ставшими похожими на его почерк, то есть не прерывая связи со строкой, отделившейся от бумаги и вот готовой опять побежать по ней дальше.

– Руку! – побагровев, с надсадом крикнул директор и так треснул по столу, что ушибся.

– Нет, не заставляйте его, если не хочет, – сказал спокойно м-сье Пьер. – Это ведь только проформа. Будем продолжать.

– Кроткий! – пророкотал Родриг Иванович, бросив из-под бровей влажный, как лобзание, взгляд на м-сье Пьера.

– Будем продолжать, – сказал м-сье Пьер. – За это время мне удалось близко сойтись с соседом. Мы проводили...

Цинциннат посмотрел под стол. М-сье Пьер почему-то смешался, заерзал и покосился вниз. Директор, приподняв угол клеенки, посмотрел туда же и затем подозрительно взглянул на Цинцинната. Адвокат в свою очередь нырнул, после чего всех обвел взглядом и опять записал. Цинциннат выпрямился. (Ничего особенного – уронил серебряный комочек.)

– Мы проводили, – продолжал м-сье Пьер обиженным голосом, – долгие вечера вместе в непрерывных беседах, играх и всяческих развлечениях. Мы, как дети, состязались в силе; я, слабенький, бедненький м-сье Пьер, разумеется, о, разумеется, пасовал перед могучим ровесником. Мы толковали обо всем – об эротике и других возвышенных материях, и часы пролетали как минуты, минуты как часы. Иногда, в тихом молчании...

Тут Родриг Иванович вдруг гоготнул.

– Imprayable se^[13] «разумеется», – прошептал он, несколько запоздало оценив шутку.

– ...Иногда, в тихом молчании, мы сидели рядом, почти обнявшись, сумерничая, каждый думая свою думу, и обе сливались, как реки, лишь только мы открывали уста. Я делился с ним сердечным опытом, учил искусству шахматной игры, веселил своевременным анекдотом. Так протекали дни. Результат налицо. Мы полюбили друг друга, и строение души Цинцинната так же известно мне, как строение его шеи. Таким образом, не чужой, страшный дядя, а ласковый друг поможет ему взойти на красные ступени, и без боязни предастся он мне, – навсегда, на всю смерть. Да будет исполнена воля публики! – (Он встал; встал и директор; адвокат, поглощенный писанием, только слегка приподнялся.) – Так. Я попрошу вас теперь, Родриг Иванович, официально объявить мое звание, представить меня.

Директор поспешно надел очки, разгладил какую-то бумажку и, рванув голосом, обратился к Цинциннату:

– Вот... Это – м-сье Пьер... Bref...^[14] Руководитель казнью... Благодарю за честь, – добавил он, что-то спутав, – и с удивленным выражением на лице опустил опять в кресло.

– Ну, это вы не очень, – проговорил недовольно м-сье Пьер. – Существуют же некоторые официальные формы, которые надобно соблюдать. Я вовсе не педант, но в такую важную минуту... Нечего прижимать руку к груди, сплеховали, батенька. Нет, нет, сидите, довольно. Теперь перейдем... Роман Виссарионович, где программка?

– А я вам ее дал, – бойко сказал адвокат, – но впрочем... – и он полез в портфель.

– Нашел, не беспокойтесь, – сказал м-сье Пьер, – итак... Представление назначено на послезавтра... на Интересной площади. Не могли лучше выбрать... Удивительно! – (Продолжает читать, бормоча себе под нос.) – Совершеннолетние допускаются... Талоны циркового абонемена действительны... Так, так, так... Руководитель казнью – в красных лосинах... ну, это, положим, дудки, переборщили, как всегда... – (К Цинциннату.) – Значит – послезавтра. Вы поняли? А завтра, – как велит прекрасный обычай, – мы должны вместе с вами отправиться с визитами к отцам города, – у вас, кажется, списочек, Родриг Иванович.

Родриг Иванович начал бить себя по разным частям ватой обложенного корпуса, выпучив глаза и почему-то встав. Наконец листок отыскался.

– Хорошо-с, – сказал м-сье Пьер, – приобщите это к делу, Роман Виссарионович. Кажется, все. Теперь по закону предоставляется слово...

– Ах нет, *c'est vraiment superflu*...^[15] – поспешно перебил Родриг Иванович. – Это ведь очень устарелый закон.

– По закону, – твердо повторил м-сье Пьер, обращаясь к Цинциннату, – предоставляется слово вам.

– Честный! – надорванно произнес директор, тряся щеками.

Последовало молчание. Адвокат писал так быстро, что больно было глазам от мелькания его карандаша.

– Я подожду одну полную минуту, – сказал м-сье Пьер, положив перед собой на стол толстые часы.

Адвокат порывисто вздохнул; начал складывать густо исписанные листки.

Минута прошла.

– Заседание окончено, – сказал м-сье Пьер, – идемте, господа. Вы мне дайте, Роман Виссарионович, просмотреть протокол, прежде чем гектографировать. Нет – погодя, у меня сейчас глаза устали.

– Признаться, – сказал директор, – я иногда невольно жалею, что вышла из употребления сис... – Он в дверях нагнулся к уху м-сье Пьера.

– О чем вы, Родриг Иванович? – ревниво заинтересовался адвокат. Директор и ему шепнул.

– Да, действительно, – согласился адвокат, – впрочем, закончик можно обойти.

Скажем, если растянуть на несколько разиков...

– Но, но, – сказал м-сье Пьер, – полегче, шуты. Я зарубок не делаю.

– Нет, мы просто так, теоретически, – искательно улыбнулся директор, – а то раньше, когда можно было применять...

Дверь захлопнулась, голоса удалились.

Но почти тотчас явился к Цинциннату еще один гость, библиотекарь, пришедший забрать книги. Его длинное, бледное лицо в ореоле пыльно-черных волос вокруг плечи, длинный дрожащий стан в синеватой фуфайке, длинные ноги в куцых штанах, – все это вместе производило странное, болезненное впечатление, точно его прищемили и выплющили. Цинциннату, однако, сдавалось, что, вместе с пылью книг, на нем осел налет чего-то отдаленно человеческого.

– Вы, верно, слышали, – сказал Цинциннат, – послезавтра – мое истребление. Больше не буду брать книг.

– Больше не будете, – подтвердил библиотекарь.

Цинциннат продолжал:

– Мне хочется выполоть несколько сорных истин. У вас есть время? Я хочу сказать, что теперь, когда знаю в точности... Какая была прелесть в том самом неведении, которое так меня удручало... Книг больше не буду...

– Что-нибудь мифологическое? – предложил библиотекарь.

– Нет, не стоит. Мне как-то не до чтения.

– Некоторые берут, – сказал библиотекарь.

– Да, я знаю, но право – не стоит.

– На последнюю ночь, – с трудом dokonчил свою мысль библиотекарь.

– Вы сегодня страшно разговорчивы, – усмехнулся Цинциннат. – Нет, унесите все это. «Quercus»'а я одолеть не мог! Да, кстати: тут мне ошибкой... эти томики... по-арабски, что ли... я, увы, не успел изучить восточные языки.

– Досадно, – сказал библиотекарь.

– Ничего, душа наверстает. Постойте, не уходите еще. Я хоть и знаю,

что вы только так — переплетены в человеческую кожу, все же...
довольствуюсь малым... Послезавтра...

Но, дрожа, библиотекарь ушел.

XVII

Обычай требовал, чтоб накануне казни пассивный ее участник и активный вместе являлись с коротким прощальным визитом ко всем главным чиновникам, – но для ускорения ритуала было решено, что оные лица соберутся в пригородном доме заместителя управляющего городом (сам управляющий, его племянник, был в отъезде – гостил у друзей в Притомске) и что к ужину, запросто, придут туда Цинциннат и м-сье Пьер.

Была темная ночь, с сильным теплым ветром, когда они, оба в одинаковых плащах, пешие, в сопровождении шести солдат с алебардами и фонарями, перешли через мост в спящий город и, минуя главные улицы, кремнистыми тропами между шумящих садов стали подниматься в гору.

(Еще на мосту Цинциннат обернулся, высвободив голову из капюшона плаща: синяя, сложная, многобашенная громада крепости поднималась в тусклое небо, где абрикосовую луну перечеркнула туча. Темнота над мостом моргала и морщилась от летучих мышей.

– Вы обещали... – прошептал м-сье Пьер, слегка сжав ему локоть, – и Цинциннат снова надвинул куколь.)

Эта ночная прогулка, которая, казалось, будет так обильна печальными, беспечными, поющими, шепчущими впечатлениями, ибо что есть воспоминание, как не душа впечатления? – получилась на самом деле смутной, незначительной и мелькнула так скоро, как это только бывает среди очень знакомой местности, в темноте, когда разноцветная дневная дробь заменена целыми числами ночи.

В конце узкой и мрачной аллеи, где хрустел гравий и пахло можжевельником, вдруг явился театрально освещенный подъезд с белесыми колоннами, фризами на фронтоне, лаврами в кадках, и, едва задержавшись в вестибюле, где метались, как райские птицы, слуги, роня перья на черно-белые плиты, – Цинциннат и м-сье Пьер перешли в зал, гудевший многочисленным собранием. Тут были все.

Тут выделялся характерной шевелюрой заведующий городскими фонтанами; тут вспыхивал червонными орденами черный мундир шефа телеграфистов; тут находился румяный, с похабным носом, начальник снабжения; и с итальянской фамилией укротитель львов; и судья, глухой старец; и, в зеленых лакированных туфлях, управляющий садами; – и множество еще других осанистых, именитых, седовласых особ с отталкивающими лицами. Дамы отсутствовали, ежели не считать

попечительницы учебного округа, очень полной, в сером сюртуке мужского покроя, пожилой женщины с большими плоскими щеками и гладкой, блестящей, как сталь, прической.

Кто-то при общем смехе поскользнулся на паркете. Люстра выронила одну из своих свечей. На небольшой, для осмотра выставленный гроб кем-то уже был положен букет. Стоя с Цинциннатом в стороне, м-сье Пьер указывал своему воспитаннику эти явления.

Но вот хозяин, смуглый старик с эспаньолкой, хлопнул в ладоши, распахнулись двери, и все перешли в столовую. М-сье Пьер и Цинциннат были посажены рядом во главе ослепительного стола, – и, сперва сдержанно, не нарушая приличий, с доброжелательным любопытством, переходившим у некоторых в скрытое умиление, все поглядывали на одинаково, в гамлетовки, одетую чету; затем, по мере того как на губах м-сье Пьера разгоралась улыбка и он начинал говорить, взгляды гостей устремлялись все откровеннее на него и на Цинцинната, который неторопливо, усердно и сосредоточенно, – как будто ища разрешения задачи, – балансировал рыбный нож разными способами, то на солонке, то на сгибе вилки, то прислонял его к хрустальной вазочке с белой розой, отличительно от других украшавшей его прибор.

Слуги, нанятые среди самых ловких франтов города, – лучшие представители его малиновой молодежи, – резво разносили кушанья (иногда даже перепархивая с блюдом через стол), и общее внимание привлекала учтивая заботливость, с которой м-сье Пьер ухаживал за Цинциннатом, сразу меняя свою разговорную улыбку на минутную серьезность, пока бережно клал лакомый кусок ему на тарелку, – после чего, с прежним игривым блеском на розовом, безволосом лице, продолжал на весь стол остроумнейший разговор – и вдруг, на полуслове, чуть-чуть засутулясь, хватая соусник или перечницу, вопросительно взглядывал на Цинцинната, который, впрочем, не притрагивался ни к какой еде, а все так же тихо, внимательно и усердно переставлял ножик.

– Ваше замечание, – весело сказал м-сье Пьер, обращаясь к начальнику городского движения, вlepившему свое словцо и теперь предвкушавшему очаровательную реплику, – ваше замечание напоминает мне известный анекдот о врачебной тайне.

– Расскажите, мы не знаем, ах, расскажите, – потянулись со всех сторон к нему голоса.

– Извольте, – сказал м-сье Пьер. – Приходит к гинекологу...

– Звините за перебивку, – сказал укротитель львов (седой усач с пунцовой орденской лентой), – но утвержден ли господин, что та анекдота

вцельно для ушей... – он выразительно показал глазами на Цинциннату.

– Полноте, полноте, – строго отвечал м-сье Пьер, – я бы никогда не разрешил себе ни малейшей скабрёзности в присутствии... Значит, приходит к гинекологу старенькая дама, – (м-сье Пьер слегка выпятил нижнюю губу). – У меня, говорит, довольно серьёзная болезнь и боюсь, что от нея помру. «Симптомы?» – спрашивает тот. «Голова, доктор, трясется...» – и м-сье Пьер, шамкая и трясясь, изобразил старушку.

Гости грохнули. В другом конце стола глухой судья, страдальчески кривясь, как от запора смеха, лез большим серым ухом в лицо к хохотавшему эгоисту соседу и, теребя его за рукав, умолял сообщить, что рассказал м-сье Пьер, который между тем, через всю длину стола, ревниво следил за судьбой своего анекдота и только тогда перемигнул, когда кто-то наконец удовлетворил любопытство несчастного.

– Ваш удивительный афоризм, что жизнь есть врачебная тайна, – заговорил заведующий фонтанами, так брызгая мелкой слюной, что около рта у него играла радуга, – может быть отлично применен к странному случаю, происшедшему на днях в семье моего секретаря. Представьте себе...

– Ну что, Цинциннатик, боязно? – участливым полусшепотом спросил один из сверкающих слуг, наливая вино Цинциннату; он поднял глаза; это был его шурин-остряк: – Боязно, поди? Вот хлебни винца до венца...

– Это что такое? – холодно осадил болтуна м-сье Пьер, и тот, горбатясь, проворно отступил – и вот уже наклонялся со своей бутылкой над плечом следующего гостя.

– Господа! – воскликнул хозяин, привстав и держа на уровне крахмальной груди бокал с бледно-желтым, ледянистым напитком. – Предлагаю тост за...

– Горько! – крикнул кто-то, и другие подхватили.

– ...На брудершафт, заклинаю... – изменившимся голосом, тихо, с лицом, искаженным мольбой, обратился м-сье Пьер к Цинциннату, – не откажите мне в этом, заклинаю, это всегда, всегда так делается...

Цинциннат безучастно потрагивал свившиеся в косые трубочки края мокрой белой розы, которую машинально вытянул из упавшей вазы.

– Я, наконец, вправе требовать, – судорожно прошептал м-сье Пьер – и вдруг, с отрывистым, принужденным смехом, вылил из своего бокала каплю вина Цинциннату на темя, а затем окропил и себя.

– Bravo, bravo! – раздавались кругом крики, и сосед поворачивался к соседу, выражая патетической мимикой изумление, восхищение, и звякали, чокаясь, небьющиеся бокалы, и яблоки с детскую голову ярко

громоздились среди пыльно-синих гроздей винограда на крутогрудом серебряном корабле, и стол поднимался, как пологая алмазная гора, и в туманах плафонной живописи путешествовала многорукая люстра, плачась, лучась, не находя пристанища.

– Я тронут, тронут, – говорил м-сье Пьер, и к нему по очереди подходили, поздравляли его. Иные при этом оступались, кое-кто пел. Отец городских пожарных был неприлично пьян; двое слуг под шумок пытались утащить его, но он пожертвовал фалдами, как ящерица хвостом, и остался. Почтенная попечительница, багровея пятнами, безмолвно и напряженно откидываясь, защищалась от начальника снабжения, который игриво нацеливался в нее пальцем, похожим на морковь, как бы собираясь ее проткнуть или пощекотать, и приговаривал: «Ти-ти-ти-ти!»

– Перейдем, господа, на террасу, – провозгласил хозяин, и тогда Марфинькин брат и сын покойного доктора Синеокова раздвинули, с треском деревянных колец, занавес: открылась, в покачивающемся свете расписных фонарей, каменная площадка, ограниченная в глубине кеглеобразными столбиками балюстрады, между которыми густо чернелись двойные доли ночи.

Сытые, урчащие гости расположились в низких креслах. Некоторые околачивались около колонн, другие у балюстрады. Тут же стоял Цинциннат, вертя в пальцах мумию сигары, и рядом с ним, к нему не поворачиваясь, но беспрестанно его касаясь то спиной, то боком, м-сье Пьер говорил при одобрительных возгласах слушателей:

– Фотография и рыбная ловля – вот главные мои увлечения. Как это вам ни покажется странным, но для меня слава, почести – ничто по сравнению с сельской тишиной. Вот вы недоверчиво улыбаетесь, милостивый государь, – (мельком обратился он к одному из гостей, который немедленно отрекся от своей улыбки), – но клянусь вам, что это так, а зря не клянусь. Любовь к природе завещал мне отец, который тоже не умел лгать. Многие из вас, конечно, его помнят и могут подтвердить – даже письменно, если бы потребовалось.

Стоя у балюстрады, Цинциннат смутно всматривался в темноту, – и вот, как по заказу, темнота прельстительно побледнела, ибо чистая теперь и высокая луна выскользнула из-за каракулевых облачков, покрывая лаком кусты и трелью света загораясь в прудах. Вдруг с резким движением души Цинциннат понял, что находится в самой гуще Тамариных Садов, столь памятных ему и казавшихся столь недостижимыми; мгновенно приложив одно к одному, он понял, что не раз с Марфинькой тут проходил, мимо этого самого дома, в котором был сейчас и который тогда ему

представлялся в виде белой виллы с забитыми окнами, сквозившей в листве на пригорке... Теперь, хлопотливым взглядом обследуя местность, он без труда освобождал от пленок ночной мглы знакомые лужайки или, напротив, стирал с них лишнюю лунную пыль, дабы сделать их точно такими, какими были они в памяти. Реставрируя замазанную копотью ночи картину, он видел, как по-старому распределяются рощи, тропинки, ручьи... Вдали, упираясь в металлическое небо, застыли на полном раскате заманчивые холмы в синеватом блеске и складках мрака...

– Луна, балкон, она и он, – сказал м-сье Пьер, улыбаясь Цинциннату, который тут заметил, что все смотрят на него с ласковым, выжидательным участием.

– Вы любуетесь ландшафтом? – вкрадчиво, держа руки за спиной, проговорил управляющий садами. – Вы... – Он осекся и, как бы слегка смутясь, повернулся к м-сье Пьеру: – Простите... вы разрешаете? Я, собственно, не был представлен...

– Ах, помилуйте, моего разрешения не требуется, – вежливо ответил м-сье Пьер и, прикоснувшись к Цинциннату, тихо сказал: – Этот господин хочет с тобой побеседовать.

– Ландшафт... Любуется ландшафтом? – повторил, кашлянув в кулак, управляющий садами. – Но сейчас мало что видно. Вот погодите, ровно в полночь, – это мне обещал наш главный инженер... Никита Лукич! А, Никита Лукич!

– Я за него, – бодрым баском отозвался Никита Лукич и подался вперед, услужливо, вопросительно и радостно поворачивая то к одному, то к другому свое моложавое, мясистое, с белой щеткой усов лицо и удобно положа руки на плечи управляющему садами и м-сье Пьеру, между которыми он, высовываясь, стоял.

– Я рассказывал, Никита Лукич, что вы обещали ровно в полночь, в честь...

– А как же, – сочно отрезал главный инженер. – Беспременно сюрприз будет. Это уже будьте покойны. А который-то час, ребята?

Он освободил чужие плечи от напора своих широких рук и озабоченно ушел в комнаты.

– Что же, через каких-нибудь восемь часов будем уже на площади, – сказал м-сье Пьер, вновь придавив крышку своих часов. – Спать придется немного. Тебе, милый, не холодно? Господин сказал, что будет сюрприз. Нас, право, очень балуют. Эта рыбка за ужином была бесподобна.

– ...Оставьте, бросьте, – раздался низкий голос попечительницы, которая надвигалась генеральской спиной и ватрушкой седого шиньончика

прямо на м-сье Пьера, отступая перед указательным пальцем начальника снабжения.

– Ти-ти-ти, – игриво пищал тот, – ти-ти-ти.

– Полегче, мадам, – крикнул м-сье Пьер, – мозоли у меня не казенные.

– Обворожительная женщина, – без всякого выражения, вскользь, заметил начальник снабжения и, потанцовывая, направился к группе мужчин, стоявших у колонн, – и тень его смешалась с их тенями, и ветерок качал бумажные фонари, и выделялись из мрака то рука, важно расправляющая ус, то чашечка, поднятая к старческим рыбьим губам, пытающимся со дна достать сахар.

– Внимание! – вдруг крикнул хозяин, вихрем проносясь между гостей.

Сначала в саду, потом за ним, потом еще дальше, вдоль дорожек, в дубравах, на прогалинах и лугах, поодиночке и пачками, зажигались рубиновые, сапфирные, топазовые огоньки, постепенно цветным бисером выкладывая ночь. Гости заахали. М-сье Пьер, со свистом вобрав воздух, схватил Цинцинната за кисть. Огоньки занимали все большую площадь: вот потянулись вдоль отдаленной долины, вот перекинулись в виде длинной брошки на ту сторону, вот уже повыскочили на первых склонах, – а там пошли по холмам, забираясь в самые тайные складки, обнюхивая вершины, переваливая через них!

– Ах, как славно, – прошептал м-сье Пьер, на миг прижавшись щекой к щеке Цинцинната.

Гости аплодировали. В течение трех минут горел разноцветным светом добрый миллион лампочек, искусно рассаженных в траве, на ветках, на скалах и в общем размещенных таким образом, чтобы составить по всему ночному ландшафту растянутый грандиозный вензель из П. и Ц., не совсем, однако, вышедший. Затем все разом потухли, и сплошная темнота подступила к террасе.

Когда опять появился инженер Никита Лукич, его окружили и хотели качать. Но пора было думать и о заслуженном отдыхе. Перед уходом гостей хозяин предложил снять м-сье Пьера и Цинцинната у балюстрады. М-сье Пьер, хотя был снимаемым, все же руководил этой операцией. Световой взрыв озарил белый профиль Цинцинната и безглазое лицо рядом с ним. Сам хозяин подал им плащи и вышел их проводить. В вестибюле, спросонья гремя, разбирали алебарды сумрачные солдаты.

– Несказанно польщен визитом, – обратился на прощание хозяин к Цинциннату. – Завтра, – вернее, сегодня утром – я там буду, конечно, и не только как официальное лицо, но и как частное. Племянник мне говорил, что ожидается большое скопление публики.

– Ну-с, ни пера ни пуха, – в промежутках тройного лобзания сказал он м-сье Пьеру.

Цинциннат и м-сье Пьер в сопровождении солдат углубились в аллею.

– Ты в общем хороший, – произнес м-сье Пьер, когда они немножко отошли, – только почему ты всегда как-то... Твоя застенчивость производит на свежих людей самое тягостное впечатление. Не знаю, как ты, – добавил он, – но хотя я, конечно, в восторге от этой иллюминации и все такое, но у меня изжога и подозрение, что далеко не все было на сливочном масле.

Шли долго. Было очень тихо и туманно.

«Ток-ток-ток, – глухо донеслось откуда-то слева, когда они спускались по Крутой. – Ток-ток-ток».

– Подлецы, – пробормотал м-сье Пьер. – Ведь клялись, что уже готово...

Наконец перешли через мост и стали подниматься в гору. Луну уже убрали, и густые башни крепости сливались с тучами. Наверху, у третьих ворот, в шлафроке и ночном колпаке, ждал Родриг Иванович.

– Ну что, как было? – спросил он нетерпеливо.

– Вас не доставало, – сухо сказал м-сье Пьер.

XVIII

«Прилег, не спал, только продрог, и теперь – рассвет, – (быстро, нечетко, слов не кончая, – как бегущий оставляет след неполной подошвы, – писал Цинциннат), – теперь воздух бледен, и я так озяб, что, мне кажется, отвлеченное понятие „холод“ должно иметь форму моего тела, и сейчас за мною придут. Мне совестно, что я боюсь, а боюсь я дико, – страх, не останавливаясь ни на минуту, несется с грозным шумом сквозь меня, как поток, и тело дрожит, как мост над водопадом, и нужно очень громко говорить, чтобы за шумом себя услышать. Мне совестно, душа опозорилась, – это ведь не должно бы, не должно бы было быть, было бы быть, – только на коре русского языка могло вырасти это грибное губье сослагательного, – о, как мне совестно, что меня занимают, держат душу за полу, вот такие подробности, подростки, лезут, мокрые, прощаться, лезут какие-то воспоминания: я, дитя, с книгой, сижу у бегущей с шумом воды на припеке, и вода бросает колеблющийся блеск на ровные строки старых, старых стихов, – о, как на склоне, – ведь я знаю, что этого не надо, – и суеверней! – ни воспоминаний, ни боязни, ни этой страстной икоты: и суеверней! – и я так надеялся, что будет все прибрано, все просто и чисто. Ведь я знаю, что ужас смерти – это только так, безвредное, – может быть, даже здоровое для души, – содрогание, захлебывающийся вопль новорожденного или неистовый отказ выпустить игрушку, – и что живали некогда в вертепах, где звон вечной капли и сталактиты, смерторадостные мудрецы, которые – большие путаники, правда, – а по-своему одолели, – и хотя я все это знаю, и еще знаю одну главную, главнейшую вещь, которой никто здесь не знает, – все-таки смотрите, куклы, как я боюсь, как все во мне дрожит, и гудит, и мчится, – и сейчас придут за мной, и я не готов, мне совестно...»

Цинциннат встал, разбежался и – головой об стену, но настоящий Цинциннат сидел в халате за столом и глядел на стену, грызя карандаш, и вот, слегка зашаркав под столом, продолжал писать – чуть менее быстро:

«Сохраните эти листы, – не знаю, кого прошу, – но: сохраните эти листы, – уверяю вас, что есть такой закон, что это по закону, справьтесь, увидите! – пускай полежат, – что вам от этого сделается? – а я так, так прошу, – последнее желание, – нельзя не исполнить. Мне необходима, хотя бы теоретическая, возможность иметь читателя, а то, право, лучше разорвать. Вот это нужно было высказать. Теперь пора собираться».

Он опять остановился. Уже совсем прояснилось в камере, и по расположению света Цинциннат знал, что сейчас пробьет половина шестого. Дождавшись отдаленного звона, он продолжал писать, – но теперь уже совсем тихо и прерывисто, точно растратил всего себя на какое-то первоначальное восклицание.

«Слова у меня топчутся на месте, – писал Цинциннат. – Зависть к поэтам. Как хорошо, должно быть, пронестись по странице и прямо со страницы, где остается бежать только тень, – сняться – и в синеву. Неопрятность экзекуции, всех манипуляций, до и после. Какое холодное лезвие, какое гладкое топорище. Наждачной бумажкой. Я полагаю, что боль расставания будет красная, громкая. Написанная мысль меньше давит, хотя иная – как раковая опухоль: выразишь, вырежешь, и опять нарастает хуже прежнего. Трудно представить себе, что сегодня утром, через час или два...»

Но прошло и два часа и более, и как ни в чем не бывало Родион принес завтрак, прибрал камеру, очинил карандаш, накормил паука, вынес парашу. Цинциннат ничего не спросил, но когда Родион ушел и время потянулось дальше обычной своей трусцой, он понял, что его снова обманули, что зря он так напрягал душу и что все осталось таким же неопределенным, вязким и бессмысленным, каким было.

Часы только что пробили три или четыре (задремав и наполовину проснувшись, он не сосчитал ударов, а лишь приблизительно запечатлел их звуковую сумму), когда вдруг отворилась дверь и вошла Марфинька. Она была румяна, выбился сзади гребень, вздымался тесный лиф черного бархатного платья, – при этом что-то не так сидело, это ее делало кривобокой, и она все поправлялась, одергивалась или на месте быстро-быстро поводи́ла бедрами, как будто что-то под низом неладно, неловко.

– Васильки тебе, – сказала она, бросив на стол синий букет, – и почти одновременно, проворно откинув с колена подол, поставила на стул полненькую ногу в белом чулке, натягивая его до того места, где от резинки был на дрожащем нежном сале тисненый след. – И трудно же было добиться разрешения! Пришлось, конечно, пойти на маленькую уступку, – одним словом, обычная история. Ну, как ты поживаешь, мой бедный Цинциннатик?

– Признаться, не ждал тебя, – сказал Цинциннат. – Садись куда-нибудь.

– Я уже вчера добивалась, – а сегодня сказала себе: лопну, а пройду. Он час меня держал, твой директор, – страшно, между прочим, тебя хвалил. Ах, как я сегодня торопилась, как я боялась, что не успею. Утречком на Интересной ужас что делалось.

– Почему отменили? – спросил Цинциннат.

– А говорят, все были уставши, плохо выпались. Знаешь, публика не хотела расходиться. Ты должен быть горд.

Продолговатые, чудно отшлифованные слезы поползли у Марфиньки по щекам, подбородку, гибко следуя всем очертаниям, – одна даже дотекла до ямки над ключицей... но глаза смотрели все так же кругло, топырились короткие пальцы с белыми пятнышками на ногтях, и тонкие губы, скоро шевелясь, говорили свое.

– Некоторые уверяют, что теперь отложено надолго, да ни от кого по-настоящему нельзя узнать. Ты вообще не можешь себе представить, сколько слухов, какая бестолочь...

– Что ж ты плачешь? – спросил Цинциннат, усмехнувшись.

– Сама не знаю, измоталась... – (Грудным баском.) – Надоели вы мне все. Цинциннат, Цинциннат, – ну и наделал же ты делов!.. Что о тебе говорят – это ужас! Ах, слушай, – вдруг переменяла она побегу речи, заулыбавшись, причмокивая и прихорашиваясь: – на днях – когда это было? да, позавчера – приходит ко мне как ни в чем не бывало такая мадамочка, вроде докторши, что ли, совершенно незнакомая, в ужасном ватерпруфе, и начинает: так и так... дело в том... вы понимаете... Я ей говорю: нет, пока ничего не понимаю... Она: ах, нет, я вас знаю, вы меня не знаете... Я ей говорю... – (Марфинька, представляя собеседницу, впадала в тон суетливый и бестолковый, но трезво тормозила на растянутом: я ей говорю – и, уже передавая свою речь, изображала себя как снег спокойной.) – Одним словом, она стала уверять меня, что она твоя мать, хотя, по-моему, даже с возрастом не выходит, но все равно, и что она безумно боится преследований, будто, значит, ее и допрашивали и всячески подвергали. Я ей говорю: при чем же тут я и отчего, собственно, вы желаете меня видеть? Она: ах, нет, так и так, я знаю, что вы страшно добрая, что вы все сделаете... Я ей тогда говорю: отчего, собственно, вы думаете, что я добрая? Она: так и так, ах нет, ах да, – и вот просит, нельзя ли ей дать такую бумажку, чтобы я, значит, руками и ногами подписала, что она никогда не бывала у нас и с тобой не видалась... Тут, знаешь, так смешно стало Марфиньке, так смешно! Я думаю, – (протяжным, низким голоском), – что это какая-то ненормальная, помешанная, правда? Во всяком случае, я ей, конечно, ничего не дала, Виктор и другие говорили, что было бы слишком компрометантно, – что, значит, я вообще знаю каждый твой шаг, если знаю, что ты с ней незнаком, – и она ушла, очень, кажется, сконфуженная.

– Но это была действительно моя мать, – сказал Цинциннат.

– Может быть, может быть. В конце концов, это не так важно. А вот почему ты такой скучный, кислый, Цин-Цин? Я думала, ты будешь так рад мне, а ты...

Она взглянула на койку, потом на дверь.

– Я не знаю, какие тут правила, – сказала она вполголоса, – но если тебе нужно, Цинциннатик, пожалуйста, только скоро.

– Оставь. Что за вздор, – сказал Цинциннат.

– Ну, как желаете. Я только хотела тебе доставить удовольствие, раз это последнее свидание и все такое. Ах, знаешь, на мне предлагает жениться – ну, угадай кто? никогда не угадаешь, – помнишь, такой старый хрыч, одно время рядом с нами жил, все трубкой смердел через забор да поглядывал, когда я на яблоню лазила. Каков? И главное – совершенно серьезно! Так я за него и пошла, за пугало рваное, фу! Я вообще чувствую, что мне нужно хорошенько, хорошенько отдохнуть, – зажмуриться, знаешь, вытянуться, ни о чем не думать, – отдохнуть, отдохнуть, – и конечно, совершенно одной или с человеком, который действительно бы заботился, все понимал, все...

У нее опять заблестели короткие, жесткие ресницы, и поползли слезы, змеясь по ямкам яблочно-румяных щек.

Цинциннат взял одну из этих слез и попробовал на вкус: не соленая и не солодкая, – просто капля комнатной воды. Цинциннат не сделал этого.

Вдруг дверь взвизгнула, отворилась на вершок, Марфиньку поманил рыжий палец. Она быстро подошла к двери.

– Ну что вам, ведь еще не пора, мне обещали целый час, – прошептала она скороговоркой. Ей что-то возразили.

– Ни за что! – сказала она с негодованием. – Так и передайте. Уговор был, что только с дирек...

Ее перебили; она вслушалась в настойчивое бормотание; потупилась, хмурясь и скребя туфелькой пол.

– Да уж ладно, – грубовато проговорила она и с какой-то невинной живостью повернулась к мужу: – Я через пять минуточек вернусь, Цинциннатик.

(Покамест она отсутствовала, он думал о том, что не только еще не приступил к неотложному, важному разговору с ней, но что не мог теперь даже выразить это важное... Вместе с тем у него ныло сердце, и все то же воспоминание скулило в уголку, – а пора, пора было от всей этой тоски поотвыкнуть.)

Она вернулась только через три четверти часа, неизвестно по поводу чего презрительно, в нос, усмехаясь; поставила ногу на стул, щелкнула

подвязкой и, сердито одернув складки около талии, села к столу, точь-в-точь как сидела давеча.

– Зря, – произнесла она с усмешкой и начала перебирать синие цветы на столе. – Ну, скажи мне что-нибудь, Цинциннатик, петушок мой, ведь... Я, знаешь, их сама собирала, маков не люблю, а вот эти – прелесть. Не лезь, если не можешь, – другим тоном неожиданно добавила она, прищурившись. – Нет, Цинциннатик, это я не тебе. – (Вздыхнула.) – Ну, скажи мне что-нибудь, утешь меня.

– Ты мое письмо... – начал Цинциннат и кашлянул, – ты мое письмо прочла внимательно – как следует?

– Прошу тебя, – воскликнула Марфинька, схватясь за виски, – только не будем о письме!

– Нет, будем, – сказал Цинциннат.

Она вскочила, судорожно оправляясь, – и заговорила сбивчиво, слегка шепеляво, как говорила, когда гневалась:

– Это ужасное письмо, это бред какой-то, я все равно не поняла, можно подумать, что ты здесь один сидел с бутылкой и писал. Не хотела я об этом письме, но раз уже ты... Ведь его, поди, прочли передатчики, списали, сказали: ага! она с ним заодно, коли он ей так пишет. Пойми, я не хочу ничего знать о твоих делах, ты не смеешь мне такие письма, преступления свои навязывать мне...

– Я не писал тебе ничего преступного, – сказал Цинциннат.

– Это ты так думаешь, – но все были в ужасе от твоего письма, – просто в ужасе! Я – дура, может быть, и ничего не смыслю в законах, но и я чутьем поняла, что каждое твое слово невозможно, недопустимо... Ах, Цинциннат, в какое ты меня ставишь положение, – и детей, подумай о детях... Послушай, – ну послушай меня минуточку, – продолжала она с таким жаром, что речь ее становилась вовсе невнятной, – откажись от всего, от всего. Скажи им, что ты невиновен, а что просто куражился, скажи им, покаяйся, сделай это, – пускай это не спасет твоей головы, но подумай обо мне, на меня ведь уже пальцем показывают: от она, вдова, от!

– Постой, Марфинька. Я никак не пойму. В чем покаяться?

– Так! Впутывай меня, задавай каверзные... Да кабы я знала в чем, то, значит, я и была бы твоей соучастницей. Это ясно. Нет, довольно, довольно. Я безумно боюсь всего этого... Скажи мне в последний раз, – неужели не хочешь, ради меня, ради всех нас...

– Прощай, Марфинька, – сказал Цинциннат.

Она задумалась, сев, облокотившись на правую руку, а левой чертя свой мир на столе.

– Как нехорошо, как скучно, – проговорила она, глубоко, глубоко вздохнув. Нахмурилась и провела ногтем реку. – Я думала, что свидимся мы совсем иначе. Я была готова все тебе дать. Стоило стараться! Ну, ничего не поделаешь. – (Река впала в море – с края стола.) – Я ухожу, знаешь, с тяжелым сердцем. Да, но как же мне вылезти? – вдруг невинно и даже весело спохватилась она. – Не так скоро придут за мной, я выговорила себе бездну времени.

– Не беспокойся, – сказал Цинциннат, – каждое наше слово... Сейчас отопрут.

Он не ошибся.

– Плящай, плящай, – залепетала Марфинька. – Постойте, не лапайтесь, дайте проститься с мужем. Плящай. Если тебе что нужно в смысле рубашечек или там... Да, дети просили тебя крепко, крепко поцеловать. Что-то еще... Ах, чуть не забыла: папаша забрал себе ковшик, который я подарила тебе, и говорит, что ты ему будто...

– Поторапливайтесь, барынька, – перебил Родион, фамильярной коленкой подталкивая ее к выходу.

XIX

На другое утро ему доставили газеты, – и это напомнило первые дни заключения. Тотчас кинулся в глаза цветной снимок: под синим небом – площадь, так густо пестрящая публикой, что виден был лишь самый край темно-красного помоста. В столбце, относившемся к казни, половина строк была замазана, а из другой Цинциннат выудил только то, что уже знал от Марфиньки, – что маэстро не совсем здоров и представление отложено – быть может, надолго.

– Ну и гостинец тебе нонче, – сказал Родион – не Цинциннату, а пауку.

Он нес в обеих руках, весьма бережно, но и брезгливо (заботливость велела прижать к груди, страх – отстранить), ухваченное комом полотенце, в котором что-то большое копошилось и шуршало.

– На окне в башне пымал. Чудище! Ишь как шастает, не удержишь...

Он намеревался пододвинуть стул, как всегда делал, чтобы, став на него, подать жертву на добротную паутину прожорливому пауку, который уже надувался, чуя добычу, – но случилась заминка, – он нечаянно выпустил из корявых опасливых пальцев главную складку полотенца и сразу вскрикнул, весь топорщась, как вскрикивают и топорщатся те, кому не то что летучая, но простая мышь-катунчик внушает отвращение и ужас. Из полотенца выпросталось большое, темное, усатое, – и тогда Родион заорал во всю глотку, топчась на месте, боясь упустить, схватить не смея. Полотенце упало; пленница же повисла у Родиона на обшлагае, уцепившись всеми шестью липкими своими лапками.

Это была просто ночная бабочка, – но какая! – величиной с мужскую ладонь, с плотными, на седоватой подкладке, темно-коричневыми, местами будто пылью посыпанными крыльями, каждое из коих было посредине украшено круглым, стального отлива, пятном в виде ока. То вцепляясь, то отлипая членистыми, в мохнатых штанишках, лапками и медленно помахивая приподнятыми лопастями крыльев, с исподу которых просвечивали те же пристальные пятна и волнистый узор на загнутых пепельных концах, бабочка точно ощупью поползла по рукаву, а Родион между тем, совсем обезумевший, отбрасывая от себя, отвергая собственную руку, причитывал: «Сыми! Сыми!» – и таращился. Дойдя до локтя, бабочка беззвучно захлопала, тяжелые крылья как бы перевесили тело, и она на сгибе локтя перевернулась крыльями вниз, все еще цепко держась за рукав, – и можно было теперь рассмотреть ее сборчатое, с подпалинами, бурое брюшко, ее

беличью мордочку, глаза, как две черных дробины, и похожие на заостренные уши сяжки.

– Ох, убери ее! – вне себя взмолился Родион, и от его исступленного движения великолепное насекомое сорвалось, ударилось о стол, остановилось на нем, мощно трепеща, и вдруг, с края, снялось. Но для меня так темен ваш день, так напрасно разбередили мою дремоту. Полет – ныряющий, грузный – длился недолго. Родион поднял полотенце и, дико замахиваясь, норовил слепую летунью сбить, но внезапно она пропала; это было так, словно самый воздух поглотил ее.

Родион поискал, не нашел и стал посреди камеры, оборотясь к Цинциннату и уперши руки в боки.

– А? Какова шельма! – воскликнул он после выразительного молчания. Сплюнул; покачал головой и достал туго тукающую спичечную коробку с запасными мухами, которыми и пришлось удовлетвориться разочарованному животному. Но Цинциннат отлично видел, куда она села.

Когда Родион наконец удалился, сердито снимая на ходу бороду вместе с лохматой шапкой волос, Цинциннат перешел с койки к столу. Он пожалел, что поторопился сдать все книги, и от нечего делать сел писать.

«Все сошлось, – писал он, – то есть все обмануло, – все это театральное, жалкое, – посулы ветреницы, влажный взгляд матери, стук за стеной, доброхотство соседа, наконец – холмы, подернувшиеся смертельной сыпью... Все обмануло, сойдясь, все. Вот тупик тутошней жизни, – и не в ее тесных пределах надо было искать спасения. Странно, что я искал спасения. Совсем – как человек, который сетовал бы, что недавно во сне потерял вещь, которой у него на самом деле никогда не было, или надеялся бы, что завтра ему приснится ее нахождение. Так создается математика; есть у нее свой губительный изъян. Я его обнаружил. Я обнаружил дырочку в жизни, – там, где она отломилась, где была спаяна некогда с чем-то другим, по-настоящему живым, значительным и огромным, – какие мне нужны объемистые эпитеты, чтобы их налить хрустальным смыслом... – лучше не договаривать, а то опять спутаюсь. В этой непоправимой дырочке завелась гниль, – о, мне кажется, что все-таки выскажу все – о сновидении, соединении, распаде, – нет, опять соскользнуло, – у меня лучшая часть слов в бегах и не откликаются на трубу, а другие – калеки. Ах, знай я, что так долго еще останусь тут, я бы начал с азов и, постепенно, столбовой дорогой связных понятий, дошел бы, довершил бы, душа бы обстроилась словами... Все, что я до сих пор тут написал, – только пена моего волнения, пустой порыв, – именно потому, что я так торопился. Но теперь, когда я закален, когда меня почти не

пугает...»

Тут кончилась страница, и Цинциннат спохватился, что вышла бумага. Впрочем, еще один лист отыскался.

«...смерть», – продолжая фразу, написал он на нем, – но сразу вычеркнул это слово; следовало – иначе, точнее: казнь, что ли, боль, разлука – как-нибудь так; вертя карликовый карандаш, он задумался, а к краю стола пристал коричневый пушок, там, где она недавно трепетала, и Цинциннат, вспомнив ее, отошел от стола, оставил там белый лист с единственным, да и то зачеркнутым словом и опустился (притворившись, что поправляет задок туфли) около койки, на железной ножке которой, совсем внизу, сидела она, спящая, распластав зрячие крылья в торжественном неуязвимом оцепенении, вот только жалко было мохнатой спины, где пушок в одном месте стерся, так что образовалась небольшая, блестящая, как орешек, плешь, – но громадные, темные крылья, с их пепельной опушкой и вечно отверстыми очами, были неприкосновенны, – верхние, слегка опущенные, находили на нижние, и в этом склонении было бы сонное безволие, если бы не слитная прямизна передних граней и совершенная симметрия всех расходящихся черт, – столь пленительная, что Цинциннат не удержался, кончиком пальца провел по седому ребру правого крыла у его основания, потом по ребру левого (нежная твердость! неподатливая нежность!), – но бабочка не проснулась, и он разогнулся – и, слегка вздохнув, отошел, – собирался опять сесть за стол, как вдруг заскрежетал ключ в замке и, визжа, гремя и скрипя по всем правилам тюремного контрапункта, отворилась дверь. Заглянул, а потом и весь вошел розовый м-сье Пьер, в своем охотничьем гороховом костюмчике, и за ним еще двое, в которых почти невозможно было узнать директора и адвоката: осунувшиеся, помертвевшие, одетые оба в серые рубахи, обутые в опорки, – без всякого грима, без подбивки и без париков, со слезящимися глазами, с проглядывающим сквозь откровенную рвань чахлым телом, – они оказались между собою схожи, и одинаково поворачивались одинаковые головки их на тощих шеях, головки бледно-плешивые, в шишках с пунктирной сизостью с боков и оттопыренными ушами.

Красиво подрумяненный м-сье Пьер поклонился, сдвинув лакированные голенища, и сказал смешным тонким голосом:

– Экипаж подан, пожалте.

– Куда? – спросил Цинциннат, действительно не сразу понявший, так был уверен, что непременно на рассвете.

– Куда, куда... – передразнил его м-сье Пьер, – известно куда. Чик-чик делать.

– Но ведь не сию же минуту, – сказал Цинциннат, удивляясь сам тому, что говорит, – я не совсем подготовился... – (Цинциннат, ты ли это?)

– Нет, именно сию минуту. Помилуй, дружок, у тебя было почти три недели, чтобы подготовиться. Кажись, довольно. Вот это мои помощники, Родя и Рома, прошу любить и жаловать. Молодцы с виду плюгавые, но зато усердные.

– Рады стараться, – прогудели молодцы.

– Чуть было не запамятовал, – продолжал м-сье Пьер, – тебе можно еще по закону... Роман, голубчик, дай-ка мне перечень.

Роман, преувеличенно торопясь, достал из-за подкладки картуза сложенный вдвое картонный листок с траурным кантом; пока его он доставал, Родриг механически потрагивал себя за бока, вроде как бы лез за пазуху, не спуская бессмысленного взгляда с товарища.

– Вот тут для простоты дела, – сказал м-сье Пьер, – готовое меню последних желаний. Можешь выбрать одно, и только одно. Я прочту вслух. Итак: стакан вина; или краткое пребывание в уборной; или беглый просмотр тюремной коллекции открыток особого рода; или... это что тут такое... составление обращения к дирекции с выражением... выражением благодарности за внимательное... Ну это извините, – это ты, Родриг, подлец, вписал. Я не понимаю, кто тебя просил? Официальный документ! Это же по отношению ко мне более чем возмутительно, – когда я как раз так щепетилен в смысле законов, так стараюсь...

М-сье Пьер в сердцах шмякнул картоном об пол, Родриг тотчас поднял его, разгладил, виновато бормоча:

– Да вы не беспокойтесь... это не я, это Ромка, шут... я порядки знаю. Тут все правильно... дежурные желания... а то можно по заказу...

– Возмутительно! Нестерпимо! – кричал м-сье Пьер, шагая по камере. – Я нездоров, – однако исполняю свои обязанности. Меня потчуют тухлой рыбой, мне подсовывают какую-то шлюху, со мной обращаются просто нагло, – а потом требуют от меня чистой работы. Нет-с! Баста! Чаша долготерпения выпита! Я просто отказываюсь, – делайте сами, рубите, кромсайте, справляйтесь как знаете, ломайте мой инструмент...

– Публика бредит вами, – проговорил льстивый Роман, – мы умоляем вас, успокойтесь, маэстро. Если что было не так, то как результат недомыслия, глупости, чересчур ревностной глупости – и только! Простите же нас. Баловень женщин, всеобщий любимец да сменит гневное выражение лица на ту улыбку, которою он привык с ума...

– Буде, буде, говорун, – смягчаясь, пробурчал м-сье Пьер, – я, во всяком случае, добросовестнее свой долг исполняю, чем некоторые другие.

Ладно, прощаю. А все-таки еще нужно решить насчет этого проклятого желания. Ну, что же ты выбрал? – спросил он у Цинцинната (тихо присевшего на койку). – Живее, живее. Я хочу наконец отделаться, а нервные пускai не смотрят.

– Кое-что дописать, – прошептал полувопросительно Цинциннат, но потом сморщился, напрягая мысль, и вдруг понял, что, в сущности, все уже дописано.

– Я не понимаю, что он говорит, – сказал м-сье Пьер. – Может быть, кто понимает, но я не понимаю.

Цинциннат поднял голову.

– Вот что, – произнес он внятно, – я прошу три минуты, – уйдите на это время или хотя бы замолчите, – да, три минуты антракта, – после чего, так и быть, доиграю с вами эту вздорную пьесу.

– Сойдемся на двух с половиной, – сказал м-сье Пьер, вынув толстые часики. – Уступи-ка, брат, половинку? Не желаешь? Ну, грабь, – согласен.

Он в непринужденной позе прислонился к стене; Роман и Родриг последовали его примеру, но у Родрига подвернулась нога, и он чуть не упал, – панически при этом взглянув на маэстро.

– Ш-ш, сукин кот, – зашипел на него м-сье Пьер. – И вообще, что это вы расположились? Руки из карманов! Смотреть у меня... – (Урча сел на стул.) – Есть для тебя, Родька, работа, – можешь помаленьку начать тут убирать; только не шуми слишком.

Родригу в дверь подали метлу, и он принялся за дело.

Прежде всего концом метлы он выбил целиком в глубине окна решетку; донеслось, как бы из пропасти, далекое, слабое «ура», – и в камеру дохнул свежий воздух, – листы со стола слетели, и Родриг их отшваркнул в угол. Затем, метлой же, он снял серую толстую паутину и с нею паука, которого так, бывало, пестовал. Этим пауком от нечего делать занялся Роман. Сделанный грубо, но забавно, он состоял из круглого плюшевого тела, с дрыгающими пружинковыми ножками, и длинной, тянувшейся из середины спины, резинки, за конец которой его держал на весу Роман, поводя рукой вверх и вниз, так что резинка то сокращалась, то вытягивалась, и паук ездил вверх и вниз по воздуху. М-сье Пьер искоса кинул фарфоровый взгляд на игрушку, и Роман, подняв брови, поспешно сунул ее в карман. Родриг между тем хотел выдвинуть ящик стола, приналег, двинул, – и стол треснул поперек. Одновременно стул, на котором сидел м-сье Пьер, издал жалобный звук, что-то поддалось, и м-сье Пьер чуть не выронил часов. С потолка посыпалось. Трещина извилисто прошла по стене. Ненужная уже камера явным образом разрушалась.

– ...пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят, – досчитал м-сье Пьер, – все. Пожалуйста, вставай. На дворе погода чудная, поездка будет из приятнейших, другой на твоём месте сам бы торопил.

– Ещё мгновение. Мне самому смешно, что у меня так позорно дрожат руки, – но остановить это или скрыть не могу, – да, они дрожат, и все тут. Мои бумаги вы уничтожите, сор выметете, бабочка ночью улетит в выбитое окно, – так что ничего не останется от меня в этих четырех стенах, уже сейчас готовых завалиться. Но теперь прах и забвение мне нипочем, я только одно чувствую – страх, страх, постыдный, напрасный...

Всего этого Цинциннат на самом деле не говорил, он молча переобувался. Жила была вздута на лбу, на нее падали светлые кудри, рубашка была с широко раскрытым узорным воротом, придававшим что-то необыкновенно молоденькое его шее, его покрасневшему лицу со светлыми вздрагивавшими усами.

– Идем же! – взвизгнул м-сье Пьер.

Цинциннат, стараясь ничего и никого не задеть, ступая как по голому пологому льду, выбрался наконец из камеры, которой, собственно, уже не было больше.

Цинцинната повели по каменным переходам. То спереди, то сзади выскакивало обезумевшее эхо, – рушились его убежища. Часто попадались области тьмы, оттого что перегорели лампочки. М-сье Пьер требовал, чтобы шли в ногу.

Вот присоединилось к ним несколько солдат, в собачьих масках по регламенту, – и тогда Родриг и Роман, с разрешения хозяина, пошли вперед – большими, довольными шагами, деловито размахивая руками, перегоняя друг друга, и с криком скрылись за углом.

Цинцинната, вдруг отвыкшего, увы, ходить, поддерживали м-сье Пьер и солдат с мордой борзой. Очень долго карабкались по лестницам, – должно быть, с крепостью случился легкий удар, ибо спускавшиеся лестницы, собственно, поднимались и наоборот. Сызнова потянулись коридоры, но более обитаемого вида, то есть наглядно показывавшие – либо линолеумом, либо обоями, либо баулом у стены, – что они примыкают к жилым помещениям. В одном колене даже пахло капустой. Далее прошли мимо стеклянной двери, на которой было написано: «анцелярия», и после нового периода тьмы очутились внезапно в громком от полдневного солнца дворе.

Во время всего этого путешествия Цинциннат занимался лишь тем, что старался совладать со своим захлебывающимся, рвущим, ничего знать не желающим страхом. Он понимал, что этот страх втягивает его как раз в ту ложную логику вещей, которая постепенно выработалась вокруг него и из которой ему еще в то утро удалось как будто выйти. Самая мысль о том, как вот этот кругленький, румяный охотник будет его рубить, была уже непозволительной слабостью, тошно вовлекавшей Цинцинната в гибельный для него порядок. Он вполне понимал все это, но – как человек, который не может удержаться, чтобы не возразить своей галлюцинации, хотя отлично знает, что весь маскарад происходит у него же в мозгу, – Цинциннат тщетно пытался переспорить свой страх, хотя и знал, что, в сущности, следует только радоваться пробуждению, близость которого чужалась в едва заметных явлениях, в особом отпечатке на принадлежностях жизни, в какой-то общей неустойчивости, в каком-то пороке всего зримого, – но солнце было все еще правдоподобно, мир еще держался, вещи еще соблюдали наружное приличие.

За третьими воротами ждал экипаж. Солдаты дальше не пошли, а сели

на бревна, наваленные у стены, и поснимали свои матерчатые маски. У ворот пугливо жалась тюремная прислуга, семьи сторожей, – босые дети выбегали, засматривая в аппарат, и сразу бросались обратно, – и на них цыкали матери в косынках, и жаркий свет золотил рассыпанную солому, и пахло нагретой крапивой, а в стороне толпилась дюжина сдержанно гагакающих гусей.

– Ну-с, поехали, – бодро сказал м-сье Пьер и надел свою гороховую с фазаньим перышком шляпу.

В старую, облупившуюся коляску, которая со скрипом круто накренилась, когда упругенький м-сье Пьер вступил на подножку, была впряжена гнедая кляча, оскаленная, с блестяще-черными от мух ссадинами на острых выступах бедер, такая вообще тощая, с такими ребрами, что туловище ее казалось обхваченным поперек рядом обручей. У нее была красная лента в гриве. М-сье Пьер потеснился, чтобы дать место Цинциннату, и спросил, не мешает ли ему громоздкий футляр, который положили им в ноги.

– Постарайся, дружок, не наступать, – добавил он. На козлы влезли Родриг и Роман. Родриг, который был за кучера, хлопнул длинным бичом, лошадь дернула, не сразу могла взять и осела задом. Некстати раздалось нестройное «ура» служащих. Приподнявшись и наклонившись вперед, Родриг стегнул по вскинутой морде и, когда коляска судорожно тронулась, от толчка упал почти навзничь на козлы, затягивая вожжи и тпрукая.

– Тише, тише, – с улыбкой сказал м-сье Пьер, дотронувшись до его спины пухлой рукой в щегольской перчатке.

Бледная дорога обвивалась с дурной живописностью несколько раз вокруг основания крепости. Уклон был местами крутоват, и тогда Родриг поспешно заворачивал скрежетавшую рукоятку тормоза. М-сье Пьер, положив руки на бульдожий набалдашник трости, весело оглядывал скалы, зеленые скаты между ними, клевер и виноград, коловращение белой пыли и заодно ласкал взглядом профиль Цинцинната, который все еще боролся. Тощие, серые, согнутые спины сидевших на козлах были совершенно одинаковы. Хлопали, хляпали копыта. Сателлитами кружились оводы. Экипаж временами обгонял спешивших паломников (тюремного повара, например, с женой), которые останавливались, заслонившись от солнца и пыли, а затем ускоряли шаг. Еще один поворот дороги, – и она потянулась к мосту, распутавшись окончательно с медленно вращавшейся крепостью (уже стоявшей вовсе нехорошо, перспектива расстроилась, что-то болталось...).

– Жалею, что так вспылел, – ласково говорил м-сье Пьер. – Не

сердись, цыпунька, на меня. Ты сам понимаешь, как обидно чужое разгильдяйство, когда всю душу вкладываешь в работу.

Простучали по мосту. Весть о казни начала распространяться в городе только сейчас. Бежали красные и синие мальчишки за экипажем. Мнимый сумасшедший, старичок из евреев, вот уже много лет удивший несуществующую рыбу в безводной реке, складывал свои манатки, торопясь присоединиться к первой же кучке горожан, устремившихся на Интересную площадь.

– ...но не стоит об этом вспоминать, – говорил м-сье Пьер, – люди моего нрава вспыльчивы, но и отходчивы. Обратим лучше внимание на поведение прекрасного пола.

Несколько девушек, без шляп, спеша и визжа, скупали все цветы у жирной цветочницы с бурыми грудями, и наиболее шустрая успела бросить букетом в экипаж, едва не сбив картуза с головы Романа. М-сье Пьер погрозил пальчиком.

Лошадь, большим мутным глазом косясь на плоских пятнистых собак, стлавшихся у ее копыт, через силу везла вверх по Садовой, и уже толпа догоняла, – в кузов ударился еще букет. Но вот повернули направо по Матюхинской, мимо огромных развалин древней фабрики, затем по Телеграфной, уже звенящей, ноющей, дудящей звуками настраиваемых инструментов, – и дальше – по немощеному шепчущему переулку, мимо сквера, где со скамейки двое мужчин в партикулярном платье, с бородками, поднялись, увидя коляску, и, сильно жестикулируя, стали показывать на нее друг другу, – страшно возбужденные, с квадратными плечами, – и вот побежали, усиленно и угловато поднимая ноги, туда же, куда и все. За сквером белая, толстая статуя была расколота надвое, – газеты писали, что молнией.

– Сейчас проедем мимо твоего дома, – очень тихо сказал м-сье Пьер.

Роман завертелся на козлах и, обратившись назад, к Цинциннату, крикнул:

– Сейчас проедем мимо вашего дома, – и сразу отвернулся опять, подпрыгивая, как мальчик, от удовольствия.

Цинциннат не хотел смотреть, но все же посмотрел. Марфинька, сидя в ветвях бесплодной яблони, махала платочком, а в соседнем саду, среди подсолнухов и мальв, махало рукавом пугало в продавленном цилиндре. Стена дома, особенно там, где прежде играла лиственная тень, странно облупилась, а часть крыши... Проехали.

– Ты все-таки какой-то бессердечный, – сказал м-сье Пьер, вздохнув, – и нетерпеливо ткнул тростью в спину вознице, который привстал и

бешеными ударами бича добился чуда: кляча пустилась галопом.

Теперь ехали по бульвару. Волнение в городе все росло. Разноцветные фасады домов, колыхаясь и хлопая, поспешно украшались приветственными плакатами. Один домишко был особенно наряден: там дверь быстро отворилась, вышел юноша, вся семья провожала его, – он нынче как раз достиг присутственного возраста, мать смеялась сквозь слезы, бабка совала сверток ему в мешок, младший брат подавал ему посох. На старинных каменных мостиках над улицами (некогда столь спасительных для пеших, а теперь употребляемых только зеваками да начальниками улиц) уже теснились фотографы. М-сье Пьер приподнимал шляпу. Франты на блестящих «часиках» обгоняли коляску и заглядывали в нее. Из кофейни выбежал некто в красных шароварах с ведром конфетти, но, промахнувшись, обдал цветной метелью разбежавшегося с того тротуара, в скобку остриженного молодца с хлеб-солью на блюде.

От статуи капитана Сонного оставались только ноги до бедер, окруженные розами, – очевидно, ее тожехватила гроза. Где-то впереди духовой оркестр нажаривал марш «Голубчик». Через все небо подвигались толчками белые облака, – по-моему, они повторяются, по-моему, их только три типа, по-моему, все это сетчато и с подозрительной прозеленью...

– Но, но, пожалуйста, без глупостей, – сказал м-сье Пьер. – Не смей падать в обморок. Это недостойно мужчины.

Вот и приехали. Публики было еще сравнительно немного, но беспрерывно длился ее приток. В центре квадратной площади, – нет, именно не в самом центре, именно это и было отвратительно, – возвышался червлёный помост эшафота. Поодаль скромно стояли старые казенные дроги с электрическим двигателем. Смешанный отряд телеграфистов и пожарных поддерживал порядок. Духовой оркестр, по-видимому, играл вовсю, страстно размахался одноногий инвалид-дирижер, но теперь не слышно было ни одного звука.

М-сье Пьер, подняв жирные плечики, грациозно вышел из коляски и тотчас повернулся, желая помочь Цинциннату, но Цинциннат вышел с другой стороны. В толпе зашикали.

Родриг и Роман соскочили с козел; все трое затеснили Цинцинната.

– Сам, – сказал Цинциннат.

До эшафота было шагов двадцать, и, чтобы никто его не коснулся, Цинциннат принужден был побежать. В толпе залаяла собака. Достигнув ярко-красных ступеней, Цинциннат остановился. М-сье Пьер взял его под локоть.

– Сам, – сказал Цинциннат.

Он взошел на помост, где, собственно, и находилась плаха, то есть покатая, гладкая дубовая колода, таких размеров, что на ней можно было свободно улечься раскинув руки. М-сье Пьер поднялся тоже. Публика загудела.

Пока хлопотали с ведрами и насыпали опилок, Цинциннат, не зная, что делать, прислонился к деревянным перилам, но, почувствовав, что они так и ходят мелкой дрожью, а что какие-то люди снизу потрагивают с любопытством его щиколотки, он отошел и, немножко задыхаясь, облизываясь, как-то неловко сложив на груди руки, точно складывал их так впервые, принялся глядеть по сторонам. Что-то случилось с освещением, – с солнцем было неблагоприятно, и часть неба тряслась. Площадь была обсажена тополями, не гибкими, валкими, – один из них очень медленно...

Но вот опять прошел в толпе гул: Родриг и Роман, спотыкаясь, пихая друг друга, пыхтя и кряхтя, неуклюже внесли по ступеням и бухнули на доски тяжелый футляр. М-сье Пьер скинул куртку и оказался в нательной фуфайке без рукавов. Бирюзовая женщина была изображена на его белом бицепсе, а в одном из первых рядов толпы, теснившейся, несмотря на уговоры пожарных, у самого эшафота, стояла эта женщина во плоти, и ее две сестры, а также старичок с удочкой, и загорелая цветочница, и юноша с посохом, и один из шурьев Цинцинната, и библиотекарь, читающий газету, и здоровяк инженер Никита Лукич, – и еще Цинциннат заметил человека, которого каждое утро, бывало, встречал по пути в школьный сад, но не знал его имени. За этими первыми рядами следовали ряды похуже в смысле отчетливости глаз и ртов, за ними – слои очень смутных и в своей смутности одинаковых лиц, а там – отдаленнейшие уже были вовсе дурно намалеваны на заднем фоне площади. Вот повалился еще тополь.

Вдруг оркестр смолк, – или вернее: теперь, когда он смолк, вдруг почувствовалось, что до сих пор он все время играл. Один из музыкантов, полный, мирный, разъяв свой инструмент, вытряхивал из его блестящих суставов слюну. За оркестром зеленела вялая аллегорическая даль: портик, скалы, мыльный каскад.

На помост, ловко и энергично (так что Цинциннат невольно отшатнулся), вскочил заместитель управляющего городом и, небрежно поставив одну, высоко поднятую, ногу на плаху (был мастер непринужденного красноречия), громко объявил:

– Горожане! Маленькое замечание. За последнее время на наших улицах наблюдается стремление некоторых лиц молодого поколения шагать так скоро, что нам, старикам, приходится сторониться и попадать в лужи. Я еще хочу сказать, что послезавтра на углу Первого Бульвара и Бригадирной

открывается выставка мебели, и я весьма надеюсь, что всех вас увижу там. Напоминаю также, что сегодня вечером идет с громадным успехом злободневности опера-фарс «Сократись, Сократик». Меня еще просят вам сообщить, что на Киферский Склад доставлен большой выбор дамских кушаков, и предложение может не повториться. Теперь уступаю место другим исполнителям и надеюсь, горожане, что вы все в добром здравии и ни в чем не нуждаетесь.

С той же ловкостью скользнув промеж перекладин перил, он спрыгнул с помоста под одобрителный гул. М-сье Пьер, уже надевший белый фартук (из-под которого странно выглядывали голенища сапог), тщательно вытирал руки полотенцем, спокойно и благожелательно поглядывая по сторонам. Как только заместитель управляющего кончил, он бросил полотенце ассистентам и шагнул к Цинциннату.

(Закачались и замерли черные квадратные морды фотографов.)

– Никакого волнения, никаких капризов, пожалуйста, – проговорил м-сье Пьер. – Прежде всего нам нужно снять рубашечку.

– Сам, – сказал Цинциннат.

– Вот так. Примите рубашечку. Теперь я покажу, как нужно лечь.

М-сье Пьер пал на плаху. В публике прошел гул.

– Понятно? – спросил м-сье Пьер, вскочив и оправляя фартук (сзади разошлось, Родриг помог завязать). – Хорошо-с. Приступим. Свет немножко яркий... Если бы можно... Вот так, спасибо. Еще, может быть, капельку... Превосходно! Теперь я попрошу тебя лечь.

– Сам, сам, – сказал Цинциннат и ничком лег как ему показывали, – но тотчас закрыл руками затылок.

– Вот глупыш, – сказал сверху м-сье Пьер, – как же я так могу... (да, давайте. Потом сразу ведро). И вообще – почему такое сжатие мускулов, не нужно никакого напряжения. Совсем свободно. Руки, пожалуйста, уберите... (давайте). Совсем свободно и считай вслух.

– До десяти, – сказал Цинциннат.

– Не понимаю, дружок? – как бы переспросил м-сье Пьер и тихо добавил, уже начиная стонать: – Отступите, господа, маленько.

– До десяти, – повторил Цинциннат, раскинув руки.

– Я еще ничего не делаю, – произнес м-сье Пьер с посторонним силным усилием, и уже побежала тень по доскам, когда громко и твердо Цинциннат стал считать: один Цинциннат считал, а другой Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета – и с не испытанной дотоле ясностью, сперва даже болезненной по внезапности своего наплыва, но потом преисполнившей веселием все его естество, – подумал: «Зачем я

тут? Отчего так лежу?» – и, задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся.

Кругом было странное замешательство. Сквозь поясницу еще вращавшегося палача просвечивали перила. Скрюченный на ступеньке, блевал бледный библиотекарь. Зрители были совсем, совсем прозрачны, и уже никуда не годились, и все подавались куда-то, шарахаясь, – только задние нарисованные ряды оставались на месте. Цинциннат медленно спустился с помоста и пошел по зыбкому сору. Его догнал во много раз уменьшившийся Роман, он же Родриг.

– Что вы делаете! – хрипел он, прыгая. – Нельзя, нельзя! Это нечестно по отношению к нему, ко всем... Вернитесь, ложитесь, – ведь вы лежали, все было готово, все было кончено!

Цинциннат его отстранил, и тот, уныло крикнув, отбежал, уже думая только о собственном спасении.

Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последней промчалась в черной шали женщина, неся на руках маленького палача, как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа, а еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями за рвущиеся сетки неба. Все расползлось. Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашенные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; и Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему.

Copyright © 1935, 1938 by Vladimir Nabokov Foreword copyright

© 1959 by Vladimir Nabokov Russian translation of Foreword copyright

© 2007 by Dmitri Nabokov

All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Dmitri Nabokov, Proprietor of the Estate of Vladimir Nabokov

© Издательская Группа «Азбука-классика», 2010

Предисловие автора к американскому изданию

[\[16\]](#)

...[Этот роман] я сочинил ровно четверть века тому назад, в Берлине, через пятнадцать приблизительно лет после бегства от большевицкой власти и как раз перед тем, как власть нацистская запустила свое гостеприимство на полную громкость. Вопрос, оказало ли на эту книгу влияние то обстоятельство, что для меня оба этих режима суть один и тот же серый и омерзительный фарс, должен занимать хорошего читателя так же мало, как он занимает меня.

«Приглашение на казнь» было напечатано в нескольких номерах русского эмигрантского журнала «Современные записки», выходившего в Париже, и позже, в 1938 году, было там же издано отдельно «Домом Книги». Рецензенты из эмигрантов были в недоумении, но книга им понравилась, и они вообразили, что разглядели в ней «кафкианский элемент», не подозревая, что я не знаю по-немецки, совершенно несведущ в современной немецкой словесности и в то время не читал еще ни французских, ни английских переводов сочинений Кафки. Какие-то стилистические сочленения между этой книгой и, допустим, моими ранними рассказами (или более поздним романом «Под знаком незаконнорожденных») несомненно существуют; но никак не между нею и «Замком» или «Процессом». В моем представлении о литературной критике нет места духовному сродству, но если бы мне пришлось выбирать родственную душу, то уж конечно я предпочел бы этого большого мастера Орвеллю и прочим популярным поставщикам иллюстрированных идей и публицистической беллетристики. Кстати сказать, никогда не мог я понять, отчего всякая моя книга неизбежно вызывает у рецензентов желание лихорадочно отыскивать более или менее знаменитые имена, с тем чтобы предаться своей страсти все сопоставлять. За последние три десятилетия они запускали в меня – если перечислить лишь некоторые из этих безвредных снарядов – Гоголем, Толстоевским, Джойсом, Вольтером, Садам, Стендалем, Бальзаком, Байроном, Бирбомом, Прустом, Клейстом, Макаром Маринским, Мэри Маккарти, Мередитом (!), Сервантесом, Чарли Чаплином, баронессой Мурасаки, Пушкиным, Раскином, и даже Себастьяном Найтом. Только одного писателя никогда не упоминали в этой

связи – а между тем он единственный, чье влияние на меня в период сочинения этой книги я должен с благодарностью признать; разумею меланхолического и чудаковатого умницу, остролова, кудесника, и просто обаятельного Пьера Делаланда, которого я выдумал.

<...>^[17].

Мой любимый писатель (1768–1849) как-то сказал об одном теперь уже совершенно забытом романе: «Il a tout pour tous. Il fait rire l'enfant et frissonner la femme. Il donne à l'homme du monde un vertige salutaire et fait rêver ceux qui ne rêvent jamais»^[18]. Ни на что подобное «Приглашение на казнь» не может притязать. Эта вещь – скрипка, звучащая в пустом пространстве. Человек приземленный решит, что тут шуток. Старикам поспешат перейти от этой книги к провинциальным любовным романам и жизнеописаниям знаменитостей. Она не вызывает восторга у заседательницы дамского клуба. Люди зломыслящие увидят в Эммочке сестру Доллиньки, а ученики венского доктора-вудуеда будут хихикать над книгой в несусветном своем мирке общедоступного чувства вины и прогрессивного образования. Но как выразился автор «Трактата о тенях» в отношении другого светильника – я знаю (*je connais*) нескольких (*quelques*) читателей, которые вскочат со стула, ероша волосы.

Каньон Оак-Крик, Аризона

25 июня 1959 года

Перевел с английского Геннадий Барабтарло

notes

Примечания

Как безумец полагает, что он Бог, так мы полагаем, что мы смертны.
Делаланд. Рассуждение о тенях (фр.).

Для пищеварения (фр.).

3

Вот она (*фр.*).

4

Завтра утром (*фр.*).

Короче говоря (*фр.*).

Хорошо (*фр.*).

Не обращайтесь внимания (фр.).

«Дуб» (*лат.*).

По-видимому, ваша мать (*фр.*).

Вышел (*лат.*).

Вот ($\phi p.$).

Насчет супа (*фр.*).

Презабавно это (*фр.*).

14

Одним словом (*фр.*).

Это, право, излишне (*фр.*).

Первый абзац касается перевода заглавия на английский и здесь опускается.

Тут выпущен пассаж о методе перевода книги на английский язык.

«В нем каждый отыщет для себя что-нибудь. Он заставит смеяться дитя и трепетать женщину. У человека светского он вызовет благотворное головокружение и сделает мечтателей из тех, кто не мечтает никогда».